

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Глава первая

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ?

Прежде чем искать метод, пригодный для изучения социальных фактов, следует определить, что такое представляют факты, носящие данное название. Вопрос этот тем более важен, что данный термин обыкновенно применяют не совсем точно.

Им без стеснения обозначают почти все происходящие в обществе явления, если только последние представляют какой-либо социальный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые не могли бы быть названы социальными. Всякий индивидуум пьет, спит, ест, рассуждает, и общество очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись регулярно.

Если бы все эти факты были социальными, то у социологии не было бы своего отдельного предмета, и ее область слилась бы с областью биологии и психологии.

Но в действительности во всяком обществе существует определенная группа людей, отличающихся резко очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными чувствами и когда я признаю в душе их существование, последнее остается все-таки объективным, так как не я сам создал их, а они внушены мне воспитанием.

Как часто при этом нам неизвестны детали наложенных на нас обязанностей и для того, чтобы узнать их, мы принуждены справляться с кодексом и советоваться с его уполномоченными истолкователями!

Точно так же верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, система монет, употребляемых мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии и т.д. — все это функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти образы мыслей, действий и чувствований (*manieres d'agir, de penser et de sentir*) обладают тем замечательным свойством, что существуют вне индивидуальных сознаний.

Эти типы поведения или мысли не только находятся вне индивидуума, но и обладают еще принудительной силой, вследствие которой он

Дюркгейм Э.

МЕТОД СОЦИОЛОГИИ .

Глава первая

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ?

Прежде чем искать метод, пригодный для изучения социальных фактов, следует определить, что такое представляют факты, носящие данное название. Вопрос этот тем более важен, что данный термин обыкновенно применяют не совсем точно.

Им без стеснения обозначают почти все происходящие в обществе явления, если только последние представляют какой-либо социальный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые не могли бы быть названы социальными. Всякий индивидуум пьет, спит, ест, рассуждает, и общество очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись регулярно.

Если бы все эти факты были социальными, то у социологии не было бы своего отдельного предмета,

и ее область слилась бы с областью биологии и психологии.

Но в действительности во всяком обществе существует определенная группа людей, отличающихся резко очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными чувствами и когда я

признаю в душе их существование, последнее остается все-таки объективным, так как не я сам создал их, а они внушены мне воспитанием.

Как часто при этом нам неизвестны детали наложенных на нас обязанностей и для того, чтобы узнать их, мы принуждены справляться с кодексом и советоваться с его уполномоченными истолкователями! Точно так же верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его. Система знаков, которыми я пользуюсь для

выражения моих мыслей, система монет, употребляемых мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии и т.д. — все это функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти образы мыслей, действий и чувствований (*manieres d'agir, de penser et de sentir*) обладают тем замечательным

свойством, что существуют вне индивидуальных сознания.

Эти типы поведения или мысли не только находятся вне индивидуума, но и обладают еще принудительной силой, вследствие которой он вынуждается к ним независимо от своего описания. Конечно, когда я добровольно сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи бесполезным, мало или совсем не чувствуется; тем не менее оно является характерным свойством этих фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно появляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться.

Если я пытаюсь нарушить постановления права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если есть еще время, или уничтожая и восстанавливая его в его нормальной форме, если оно совершено и может быть исправлено, или же, наконец, заставляя меня искупить его, если его исправить нельзя. Применяется ли сказанное к чисто нравственным правилам?

Общественная совесть удерживает от всякого оскорбляющего ее действия посредством надзора за поведением граждан и особых показаний, которыми она располагает. В других случаях принуждение менее сильно,

но все-таки существует. Если я не подчинюсь условиям света, если я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны и моего сословия, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производит, хотя и в более слабой степени, то же действие, как и наказание в собственном смысле этого слова. В других случаях имеет место принуждение, хотя и косвенное, но не менее действительное. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или употреблять установленную монету, но я не могу поступить иначе. Если

бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной.

Если я промышленник, то никто не запрещает мне работать, употребляя приемы и методы прошлого столетия, но, если я сделаю это, я, наверное, разорюсь. Даже если фактически я могу освободиться от этих правил и с успехом нарушить их, то я могу сделать это лишь после борьбы с ними; если даже в конце концов они и будут побеждены, то все же они достаточно дают чувствовать свою принудительную силу тем сопротивлением, которое оказывают. Нет такого новатора,

даже счастливого, предприятия которого не сталкивались бы с оппозицией этого рода.

Вот, следовательно, разряд фактов, отличающихся специфическими свойствами; его составляют образы мыслей, действий и чувствований, находящиеся вне индивида и одаренные принудительной силой, вследствие которой он вынуждается к ним. Отсюда их нельзя смешать ни с органическими явлениями, так как они состоят из представлений и действий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном сознании и благодаря ему. Они составляют,

следовательно, новый вид и им-то и должно быть присвоено название социальных. Оно им вполне подходит, так как ясно, что не имея своим субстратом индивида, они не могут иметь другого субстрата, кроме общества, будь то политическое общество в его целом или какие-либо отдельные группы, в нем заключающиеся: религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т.д. С другой стороны, оно применимо только к ним, т.к. слово “социальный” имеет определенный смысл лишь тогда, когда обозначает

исключительно явления, не входящие ни в одну из установленных и названных уже категорий фактов. Они составляют, следовательно, собственную область социологии. Правда, что слово “принуждение”, при помощи которого мы их определяем, рискует встревожить ревностных сторонников абсолютного индивидуализма. Так как они признают индивида вполне автономным, то им кажется, что его унижают всякий раз, когда дают ему почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но так как теперь несомненно, что большинство наших идей и стремлений не

выработаны нами, а приходят к нам извне, то они могут проникнуть в нас лишь посредством внушения; вот и все, что выражает определение. Сверх того известно, что социальное принуждение не исключает непременно индивидуальность...

Но так как приведенные нами примеры (юридические и нравственные постановления, религиозные догматы, финансовые системы и т.п.) все состоят из установленных уже верований и правил, то можно было бы подумать, на основании сказанного, что социальный факт может быть лишь там, где есть определенная

организация. Но существуют другие факты, которые, не представляя таких кристаллизованных форм, имеют ту же объективность и то же влияние на индивида. Это так называемые социальные течения (courants sociaux).

Так, возникающие в собрании великие движения энтузиазма, негодования, сострадания не зарождаются ни в каком отдельном сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас, вопреки нам самим. Конечно, может случиться, что, отдаваясь им вполне, я не буду чувствовать того давления, которое они оказывают на меня. Но

оно проявится тотчас, как только я попытаюсь бороться с ними. Пусть какой-нибудь индивид попробует противиться одной из этих коллективных манифестаций и тогда отрицаемые им чувства обратятся против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается с такой ясностью в случаях сопротивления, то, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. Таким образом, мы являемся жертвами иллюзии, заставляющей нас верить в то, что нам внушено извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, и маскирует испытанное

давление, то она его не уничтожает. Так, воздух все-таки тяжел, хотя мы и не чувствуем его веса. Даже если мы со своей стороны содействовали возникновению общего волнения, то впечатление, полученное нами, будет совсем другое, чем то, которое мы испытали бы, если бы были одни. И когда собрание разойдется, когда эти социальные влияния перестанут действовать на нас и мы останемся наедине с собой, то чувства, пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы замечаем тогда, что мы их гораздо более испытали, чем произвели. Случается даже, что они

вызывают в нас отвращение: настолько они были противны нашей природе. Так, индивиды при обыкновенных условиях совершенно безобидные, соединясь в толпу, могут произвести акты жестокости. То, что мы говорим об этих мимолетных вспышках, применимо также и к тем более постоянным движениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас или во всем обществе, или в более ограниченных кругах по поводу религиозных, политических, литературных, аристократических и др. вопросов.

Данное определение социального факта можно подтвердить еще одним характерным наблюдением, стоит только обратить внимание на то, как воспитывается ребенок. Если рассматривать факты такими, каковы они есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все воспитание заключается в постоянном усилии приучить ребенка видеть, чувствовать и действовать так, как он не привык бы к тому самостоятельно. С самых первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в определенные часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию;

позднее мы принуждаем его принимать в расчет других, уважать обычаи, приличия, мы принуждаем его к работе и т.д. .Если с течением времени это принуждение и перерастает в чувство, то только потому, что оно рождает привычки, внутренние склонности, которые делают его бесполезным, но которые заменяют его лишь вследствие того, что сами из него вытекают. Правда, по мнению Спенсера, рациональное воспитание должно было бы отвергать такие приемы и предоставить ребенку полную свободу; но, так как эта педагогическая теория никогда не

практиковалась ни одним из известных народов, то она составляет лишь desideratum автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным фактам. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание имеет целью создать социальное существо, на нем, следовательно, можно увидеть в общих чертах, как образовалось это существо в истории. Это давление, ежеминутно испытываемое ребенком, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образцу и имеющей своими представителями и

посредниками родителей и учителей. Таким образом, характерным признаком социальных явлений служит не их распространенность. Какая-нибудь мысль, присущая сознанию всякого индивида, какое-нибудь движение, повторяемое всеми, не становятся от этого социальными фактами. Если этим признаком и довольствовались для их определения, то это потому, что их неправильно смешивали с тем, что может быть названо и индивидуальными воплощениями. К ним же принадлежат: верования, склонности, обычаи группы, взятой коллективно; что же касается тех

форм, в которые облакаются коллективные состояния, передаваясь индивидам, то последние представляют собой явления иного порядка. Различие их природы наглядно доказывается тем, что оба эти разряда актов встречаются часто раздельно. Действительно, некоторые из этих образов мыслей или действий приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, осаждаёт их и изолирует от отдельных событий, их отражающих. Они как бы приобретают, таким образом, особое *тело*, особые, свойственные им,

осязательные формы и составляют реальность *sui generis*, очень отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов.

Коллективная привычка существует не только, как нечто имманентное ряду определяемых ею действий, но по привилегии, не встречаемой нами в области биологической, она выражается раз навсегда в какой-нибудь формуле, повторяющейся из уст в уста, передающейся воспитанием, закрепляющейся даже письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, народных афоризмов и преданий, догматов

веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, кодексов вкуса, устанавливаемых литературными школами и пр. Существование всех их не исчерпывается целиком одними применениями их в жизни отдельных лиц, так как они могут существовать и не будучи действительно применяемы.

Конечно, эта диссоциация не всегда одинаково ясна. Но достаточно ее неоспоримого существования в поименованных нами, важных и многочисленных случаях для того. чтобы доказать, что социальный

факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Сверх того, даже тогда, когда она не дается непосредственно наблюдением, ее можно часто обнаружить с помощью некоторых искусственных приемов; эту операцию даже необходимо произвести, если желают освободить социальный факт от всякой примеси и наблюдать его во всей его чистоте. Так, существуют известные течения общественного мнения, вынуждающие нас с различной степенью интенсивности, смотря по времени и стране, одного, например, к браку, другого к самоубийству или к более или менее сильной

производительности и т.п. Это, очевидно, социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в отдельных случаях. Но статистика дает нам средство изолировать их. Они, действительно, изображаются довольно точно цифрой рождаемости, браков и самоубийств, т.е. числом, получающимся от деления среднего годового итога браков, рождений, добровольных смертей на число лиц по возрасту способных жениться, производить, убивать себя... Так как каждая из этих цифр охватывает без различия все

отдельные случаи, то индивидуальные условия, могущие принимать какое-нибудь участие в возникновении явления, взаимно нейтрализуются и вследствие этого не определяют этой цифры. Она выражает лишь известное состояние коллективной души (de l'ame collective).

Вот что такое социальные явления, освобожденные от всякого постороннего элемента. Что же касается их частных проявлений, то и в них есть нечто социальное, так как они частично воспроизводят коллективную модель (un modele collectif). Но каждое из них

значительно зависит также и от психико-органической конституции индивида, и от особых условий, в которые он поставлен. Они, следовательно, не социологические явления в собственном смысле этого слова. Они принадлежат одновременно двум областям и их можно было бы назвать социопсихическими (*socio-psychiques*). Они интересуют социолога, не составляя непосредственного предмета социологии. Точно так же и в организации встречаются явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками,

как, например, биологической химией.

Но, скажут нам, явление может быть общественным лишь тогда, когда оно свойственно всем членам общества, или по крайней мере большинству из них, следовательно, при условии всеобщности. Без сомнения, но оно всеобще лишь потому, что социально (т.е. более или менее обязательно), а отнюдь не социально, потому что всеобще Это — такое состояние группы, которое повторяется у индивидов, потому что оно внушается им. Оно находится в каждой части, потому что находится в целом, а вовсе не потому оно

находится в целом, что находится в частях. Это особенно ясно относительно верований и обычаев, передающихся нам уже вполне сложившимися от предшествовавших поколений; мы принимаем и усваиваем их, потому что они как произведения общественные и вековые, облечены особым авторитетом, который мы вследствие воспитания привыкли уважать и признавать. А надо заметить, что огромное большинство социальных явлений слагается этим путем. Но даже когда социальный факт возникает отчасти при нашем прямом содействии, природа его все

та же. Коллективное чувство, вспыхивающее в собрании, выражает не только то, что было общего между всеми индивидуальными чувствами. Как мы указали, оно есть нечто совсем другое. Оно есть результат общей жизни, продукт действий и противодействий, возникающих между индивидуальными сознаниями; и если оно отражается в каждом из них, то это в силу той специальной энергии, которой оно обязано именно своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, то это не вследствие самопроизвольного и

предустановленного согласия, а потому что их движет одна и та же сила в одном и том же направлении. Каждый увлечен всеми.

Итак, мы точно определили область социологии. Она обнимает лишь известную группу феноменов. Социальный факт узнается лишь по той внешней принудительности власти, которую он имеет или способен иметь над индивидами, а присутствие этой власти узнается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь определенной санкции или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида разойтись с ним.

Его можно определить также и по распространению его внутри группы, если только... будет прибавлен второй и существенный признак, что он существует независимо от индивидуальных форм, принимаемых им при распространении. В иных случаях этот последний критерий даже легче применить, чем первый.

Действительно, принуждение легко констатировать, когда оно выражается какой-нибудь прямой реакцией общества, как это бывает в праве, в этике, в верованиях, в обычаях, даже в людях. Но когда оно лишь косвенное, — что имеет место,

например, в экономической организации, — оно не так легко заметно. Тогда бывает легче установить всеобщность вместе с объективностью. К тому же это второе определение есть лишь другая форма первого: так как если способ поведения, существующий вне индивидуальных сознаний, является общим, то он может стать таким лишь с помощью принуждения.

Однако можно было бы спросить, полно ли это определение.

Действительно, факты, служившие нам основанием для него, являются все различными образами действий; они относятся к физиологическому

разряду. Однако существуют еще формы коллективного бытия, то есть социальные факты анатомического или морфологического порядка.

Социология не может не интересоваться тем, что образует субстрат коллективной жизни.

Однако число и характер основных элементов, из которых складывается общество, способы их сочетания, степень достигнутой ими сплоченности, распределение населения на территории, число и характер путей сообщения, форма жилищ и т.д., на первый взгляд, не могут быть сведены к образам действий чувств и мысли.

Но, прежде всего, эти различные явления представляют те же характеристические признаки, которые служили нам для определения других явлений. Эти формы бытия полагаются на индивида так же, как и те образы действия, о которых мы говорили выше. Действительно, когда желают узнать политическое деление общества, состав его отдельных частей, более или менее тесную связь между ними, то этого могут достигнуть не при помощи внешнего осмотра или географического обзора, так как эти деления идеальны даже тогда, когда какое-нибудь из их

оснований заложено в физической природе. Лишь посредством изучения публичного права можно узнать эту организацию, так как лишь это право определяет наши домашние и гражданские отношения. Она, следовательно, не менее обязательна. Если наше население теснится в городах вместо того, чтобы рассеиваться по деревням, то это потому, что существует коллективное давление, принуждающее индивидов к этой концентрации. Мы так же не можем избирать форму наших жилищ, как и фасон наших одежд: первая обязательна в такой же мере, как и

последний. Пути сообщения определяют настоящим образом то направление, в котором совершаются внутренние передвижения и обмен и даже интенсивность этих передвижений и обмена и т.д. Следовательно, к ряду феноменов, которые мы перечислили, как имеющие отличительный признак социальных фактов, можно было бы прибавить еще одну категорию; но так как это перечисление не было исчерпывающим, то и такое прибавление не является необходимым.

Оно даже не полезно, так как эти формы бытия суть лишь укрепившиеся образы действия. Политическое строение общества есть лишь тот способ, которым привыкли жить друг с другом различные сегменты, составляющие это общество. Если их отношения традиционно тесны, то сегменты стремятся слиться, в противном случае они стремятся к разъединению. Тип наших строений представлял собою лишь тот способ, которым привыкли строить дома все вокруг нас и отчасти предшествовавшие поколения. Пути сообщения

являются лишь тем руслом, которое прорыло себе регулярно совершающееся в одном и том же направлении течение обмена и переселений и т.д.

Конечно, если бы лишь одни явления морфологического порядка представляли такое постоянство, то можно бы подумать, что они представляют собой вид. Но юридическое постановление является столь же устойчивым и постоянным, как и тип архитектуры, а между тем это факт физиологический.

Простая нравственная максима, конечно, более способна к изменениям, но и ее формы более устойчивы, чем профессиональный обычай или мода. Притом существует целый ряд переходных ступеней, которыми самые характерные по своему строению социальные факты соединяются с теми свободными течениями социальной жизни, которые еще не вылились в определенную форму. Следовательно, между ними есть различия лишь в степени их прочности. И те, и другие представляют лишь более или менее кристаллизованную форму. Конечно,

быть может, полезно сохранить для социальных фактов, составляющих социальный субстрат, название морфологических, но при этом не надо терять из виду, что по природе своей они одинаковы с другими фактами.

Наше определение будет, следовательно, полно, если мы скажем: социальным фактом является всякий образ действий, резко определенный или нет, но способный оказывать на индивида внешнее принуждение, или иначе: распространенный на всем протяжении данного общества, но имеющий в то же время свое

собственное существование,
независимое от его индивидуальных
проявлений.

Глава вторая ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ

Первое и основное правило состоит
в том, что социальные факты нужно
рассматривать как предметы (des
choses).

В тот момент, когда известный класс
явлений становится объектом науки,
в уме человеческом существуют уже
не только чувственные образы этих
явлений, но и известные грубо

поставленные понятия о них. Так, еще до первых зачатков физики и химии людям были уже известны понятия о физико-химических явлениях, выходявшие за пределы чистых восприятия: таковы, например, те понятия, которые примешаны ко всем религиям. Это значит, что на самом деле рефлексия предшествует науке, которая лишь пользуется ею при помощи более правильного метода. Человек не может жить среди явлений, не составляя себе о них новых идей, которыми он и руководствуется в своем поведении. Но так как эти понятия ближе и понятнее нам, чем

реальности, которым они отвечают, то мы естественно склонны заменять ими последние и сделать их предметом наших размышлений. Вместо того, чтобы наблюдать вещи, описывать и сравнивать их, мы довольствуемся тогда приведением в ясность наших идей, их комбинированием и анализом. Вместо науки о реальностях получается лишь анализ идей. Конечно, этот анализ не исключает непременно всякое наблюдение. К фактам могут обращаться для того, чтобы подтвердить эти понятия или сделанные из них выводы, но факты в этом случае являются чем-то

второстепенным, в виде примеров или доказательств; они не служат предметом науки. Последняя идет от идей к вещам, а не от вещей к идеям.

Ясно, что этот метод не может дать объективных выводов.

Действительно, эти понятия или концепции, как бы их не называли, не являются законными заместителями вещей. Эти продукты грубого опыта призваны, прежде всего, привести в гармонию наши действия с окружающим нас миром; они выработаны практикой и для нее. Но эту роль с успехом может выполнить и какое-нибудь теоретически ложное представление.

Коперник несколько столетий тому
назад рассеял иллюзии наших чувств
относительно движения светил, а
между тем мы без стеснения
распределяем наше время,
руководствуясь этими иллюзиями.
Для того чтобы какая-нибудь идея
вызывала действие, согласное с
природой данной вещи, не нужно
непрерывно, чтобы оно верно
воспроизводило эту природу;

достаточно, если оно даст нам
почувствовать, что в этой вещи
имеется полезного или невыгодного,
чем она может служить нам и чем
повредить. Понятия, составленные
таким образом, имеют лишь

приблизительную практическую точность и то лишь в большинстве случаев. Как часто они столь же опасны, как и несовершенны! Следовательно, нельзя открыть законов реальности, разрабатывая эти понятия, как бы мы ни взялись за это. Эти понятия, наоборот, походят на покрывало, помещающееся между нами и вещами и скрывающее их от нас тем лучше, чем прозрачнее оно нам кажется. При подобных условиях наука не только изуродована, но и лишена почвы, могущей питать ее.

Едва она возникает, как уже исчезает и превращается в искусство. Действительно, означенные понятия

признаются содержащими в себе все, что существенно в реальностях, так как их смешивают с самым реальным. Отсюда у них, по-видимому, есть все, что надо для того, чтобы не только привести нас к пониманию существующего, но и предписать нам то, что должно быть, и указать нам средство к осуществлению должного. Потому что то хорошо, что сообразно с природой вещей, то же, что противно ей, плохо, и средства достигнуть одного и избежать другого вытекают из самой этой природы. Если, следовательно, мы постигаем ее сразу, то изучение существующей

реальности не имеет более практического интереса, а так как лишь он служит побудительной причиной изучения, то последняя отныне становится бесцельной. Таким образом мысль получает толчок отвернуться от того, что составляет объект науки, от настоящего и прошедшего для того, чтобы одним прыжком устремиться в будущее. Вместо того чтобы стараться понять факты, уже сложившиеся и реализованные, она принимается непосредственно за создание новых фактов, более отвечающих человеческим целям. Когда полагают, что знают сущность

материи, сейчас же принимаются за разыскивание философского камня. Это захватывание науки искусством, мешающее первой развиваться, облегчается еще теми обстоятельствами, которые вызывают первое пробуждение научной рефлексии. Так как последняя появляется для удовлетворения жизненных потребностей, то она естественно обращается к практике. Нужды, которые она призвана облегчать, всегда настоятельны и потому торопят ее к выводам: они требуют не объяснений, а лекарств. Такой прием столь согласен с естественной

склонностью нашего ума, что он встречается даже при начале физических наук; — это он отличает алхимию от химии и астрологию от астрономии. Таков, по словам Бэкона, оспариваемый им метод ученых его времени. Понятия, о которых мы только что говорили, и суть те *notiones vulgares* или *praenotiones*, которые он находил в основе всех наук, где они заменяют факты. Это *idola*, род признаков, искажающих истинный вид вещей, но принимаемых нами за самые вещи. И так как эта воображаемая среда не оказывает нашему уму никакого сопротивления, то он, не

чувствуя никаких стеснений,
предается безграничному
честолюбию и считает возможным
построить или, скорее, перестроить
мир одними своими силами и по
воле своих желаний.

Если таково было положение
естественных наук, то еще более
было оснований для подобного же
положения социологии. Люди не
дожидались социальной науки для
того, чтобы составить себе понятия о
праве, нравственности, семье,
государстве, обществе, потому что
они не могли жить без них. И в
социологии более, чем где-нибудь,
эти *praenotiones*, пользуемся

выражением Бэкона, могут господствовать над умами и заменять собой вещи. Действительно, социальные явления создаются людьми, они являются продуктами человеческой реальности. Они, следовательно, не что иное, по-видимому, как осуществление присущих нам идей, врожденных или нет, не что иное, как применение их к различным обстоятельствам, отношения людей между собою. Организация семьи, договорных отношений, репрессивных мер, государства, общества — являются таким образом простым развитием идей, имеющихся у нас насчет

общества, государства, справедливости и т.д. Вследствие этого эти и аналогичные им факты, по-видимому, существуют лишь в идеях и благодаря идеям, которые являются их источником, а потому и истинным предметом социологии.

Этот взгляд окончательно подтверждается тем, что, так как явления социальной жизни во всей полноте своей недоступны непосредственному сознанию, то последнее воспринимает их недостаточно отчетливо для того, чтобы чувствовать их реальность. Так как для такого восприятия у нас нет достаточно близкой и прочной связи

с ними, то они легко производят на нас впечатление чего-то ни к чему не прикрепленного, развевающегося в пустоте, чего-то полуреального и крайне искусственного. Вот почему столько мыслителей видели в социальных устройствах лишь искусственные и более или менее произвольные комбинации. Но если детали, или конкретные частные формы ускользают от нас, то мы, по крайней мере, составляем себе самые общие представления о коллективном бытии в целом и приблизительно, и эти-то схематические и общие представления и являются теми

<<предпонятиями” (prepo-tiones), которыми мы пользуемся в обыденных случаях жизни. Мы не можем, следовательно, и помыслить о том, чтобы усомниться в их существовании, так как замечаем последнее одновременно с нашим. Они существуют не только в нас (т.е. в нашей мысли), но, будучи продуктом повторных опытов, от повторения и происходящей отсюда привычки получают известного рода влияние и авторитет. Мы чувствуем их сопротивление, когда стараемся освободиться от них. А мы не можем не считать реальным того, что нам сопротивляется. Все, следовательно,

приводит к тому, чтобы заставить нас видеть в них истинную социальную реальность.

И действительно, до сих пор социология почти исключительно рассуждала не о вещах, а о представлениях. Кант, правда, провозгласил, что социальные явления суть естественные факты, подчиненные естественным законам. Этим он признал их предметами, так как в природе существуют лишь предметы. Но, когда выйдя за пределы этих философских обобщений, он пытается применить свой принцип и построить отвечающую ему науку, то делает

объектом изучения лишь идеи. Действительно, главным содержанием его социологии является прогресс человечества во времени. Он отправляется от той идеи, что существует постоянная эволюция человеческого рода, заключающаяся во все более полной реализации человеческой природы, и ставит своей задачей отыскание порядка этой эволюции. Однако, если и предположить, что эта эволюция существует, то действительность ее существования может быть установлена лишь тогда, когда наука уже возникла, следовательно, ее можно было

сделать объектом исследования, лишь выставляя ее как концепцию разума, а не предмет. И действительно, это представление совершенно субъективно, фактически этого процесса человечества не существует. Существуют же и представляются наблюдению лишь отдельные общества, рождающиеся, развивающиеся и умирающие независимо одно от другого. Если бы еще позднейшие служили продолжением предшествовавших, то каждый высший тип общества можно было бы рассматривать как простое рассмотрение непосредственно

низшего типа с небольшим прибавлением; можно было бы поставить их тогда одно за другим, соединяя в одну группу те, которые находятся на одинаковой ступени развития; и ряд, образованный таким образом, мог бы считаться представляющим человечество. Но факты не так просты. Народ, заступающий вместо другого народа, не является простым продолжением этого последнего с некоторыми новыми свойствами; он — иной, у него некоторых свойств больше, других меньше; он составляет новую индивидуальность, и все эти отдельные индивидуальности, будучи

разнородными, не могут слиться в один непрерывный ряд, особенно в единственный ряд. Ряд обществ не может быть изображен геометрической линией, он скорее похож на дерево, ветви которого расходятся в разные стороны. В общем, Кант принял за историческое развитие то понятие, которое он составил о нем, и которое немногим отличается от понятий толпы.

Действительно, история, рассматриваемая издали, легко принимает этот простой и последовательный вид: видны лишь преемственно сменяющие друг друга ряды индивидов, идущих в одном и

том же направлении, так как природа у них та же самая. Полагая, далее, что социальная эволюция не может быть ничем иным, как только развитием какой-нибудь человеческой идеи, вполне естественно определять ее тем понятием, которое составляют себе о ней люди. Однако, действуя таким образом, не только остаются в области идей, но делают еще объектом социологии представление, не имеющее в себе ничего собственно социологического.

Спенсер устраняет это представление, но лишь для того, чтобы заменить его другим,

составленным по тому же образцу. Объектом науки он считает не человечество, а общества. Но он сейчас же дает такое определение последних, которое устраняет предметы, о которых он говорит для того, чтобы поставить на их место то предпонятие, которое у него о них существует. Действительно, он признает очевидным то положение, что “общество существует лишь тогда, когда совместное пребывание индивидов становится кооперацией”, что лишь через это союз индивидов становится обществом в собственном смысле этого слова. Затем, исходя из того принципа, что кооперация есть

сущность социальной жизни, он разделяет общество на два класса, смотря по характеру господствующей в них кооперации. Существует, говорит он, самопроизвольная кооперация, которая выполняется непреднамеренно во время преследования целей частного характера; существует также сознательно установленная кооперация, имеющая в виду ясно признанные цели общественного интереса. Первые он называет промышленными, вторые — военными; и об этом различии можно сказать, что оно является исходной идеей социологии.

Но это предварительное определение объявляет реальностью то, что есть лишь составленное умом представление.

Действительно, оно выдается за выражение непосредственно воспринимаемого и констатируемого наблюдением факта, так как оно формулировано в самом начале науки как аксиома. А между тем невозможно узнать простым наблюдением, действительно ли кооперация составляет все в социальной жизни. Такое утверждение было бы научно законно лишь тогда, когда начали бы с обзора всех проявлений коллективного

бытия и доказали, что все они являются различными формами кооперации. Следовательно, здесь также известное представление о социальной реальности заменяет собою эту реальность. Означенной формулой определяется не общество, а та идея, которую составил себе о нем Спенсер. И если он не испытывает никакого сомнения, действуя таким образом, то это потому, что и для него общество есть и может быть лишь реализацией идеи, именно той самой идеи кооперации, посредством которой он его определяет...

Легко показать, что в каждом отдельном вопросе, которых он касается, его метод остается одинаковым. Поэтому, хотя он и делает вид, что действует эмпирически, но так как факты, собранные в его социологии, скорее употреблены для иллюстрации анализов понятий, чем описания и объяснения явлений, то они лишь кажутся фигурирующими там в качестве аргументов. Действительно, все существенное в его учении может быть непосредственно выведено из его определения общества и различных форм кооперации. В самом деле, если у нас есть выбор

лишь между тиранически
вынужденной кооперацией и
кооперацией самопроизвольной и
свободной, то очевидно эта
последняя и будет тем идеалом, к
которому стремится и должно
стремиться человечество.

Эти обыденные понятия встречаются
не только в основе науки, но на них
наталкиваешься ежеминутно во всех
ее построениях. При настоящем
состоянии наших знаний мы не
знаем с уверенностью, что такое
государство, верховная власть,
политическая свобода, демократия,
социализм, коммунизм и т.д.;
следовательно, с точки зрения

правильного метода, нужно было бы запретить себе употребление этих понятий, пока они научно не установлены. А между тем слова, их выражающие, встречаются постоянно в рассуждениях социологов. Их употребляют без запинки и с уверенностью, как будто они отвечают предметам, хорошо известным и определенным, тогда как они порождают в нас лишь сбивчивые понятия, неясную смесь смутных впечатлений, предрассудков и страстей. Мы смеемся теперь над странными выводами средневековых врачей из понятий теплого, холодного, сухого, сырого и т.д. и не

замечаем, что продолжаем применять тот же метод к разряду явлений, для которых он менее всего пригоден вследствие их чрезвычайной сложности. В специальных отраслях социологии этот метод еще более достоин осуждения.

Особенно он непригоден в нравственности. Действительно, можно сказать, что нет ни одной системы, в которой она не представлялась бы простым развитием первоначальной идеи, заключающей в себе все. Одни думают, что эту идею человек находит вполне готовой в себе при

своём рождении; другие, наоборот, полагают, что она складывается более или менее медленно в течение истории. Но как для тех, так и для других, как для эмпиристов, так и для рационалистов она составляет все действительно реальное в нравственности. Что же касается деталей юридических и нравственных правил, то они не могут, так сказать, существовать сами по себе, а являются лишь различными, смотря по обстоятельствам, применениями этой наивной идеи к отдельным случаям жизни. При таких условиях объектом этики является не система

правил, лишенных независимого существования, а идея, из которой они вытекают, и разнообразными применениями которой они являются. Поэтому все вопросы, которые задает себе обыкновенно этика, относятся не к предметам, а к идеям; нужно узнать, в чем состоит идея права, идея нравственности, а не какова природа нравственности и права, взятых сами в себе.

Моралисты еще не дошли до той простой идеи, что подобно тому, как наше представление о чувственных предметах проистекает от этих самых предметов и выражает их более или менее точно, так и наше

представление о нравственности
вытекает из наблюдения правил,
функционирующих у нас перед
глазами, и изображает их
схематически; что вследствие этого
эти-то правила, а не общее
представление о них, составляют
содержание науки точно так же, как
предметом физики служат тела в том
виде, в каком они существуют, а не
идеи, составляемые о них толпой.
Отсюда вытекает, что основанием
нравственности делают то, что
является ее вершиной, а именно ту
форму, в которой она отражается и
продолжает свое бытие в
индивидуальных сознаниях. И этому

методу следуют не только в самых общих, но и в социальных вопросах науки. От основных идей, исследуемых в начале, моралист переходит к идеям второстепенным, к идеям семьи, родины, ответственности, милосердия, справедливости; но его рассуждения относятся всегда только к идеям.

То же самое и в политической экономии. Предметом ее, говорит Стюарт Милль, служат социальные факты, возникающие главным образом или исключительно в целях накопления богатств. Но для того, чтобы подходящие под это определение факты могли быть

наблюдаемы ученым как предметы, нужно было бы по крайней мере указать, по какому признаку можно узнать подобные факты. В начале же науки не имеется оснований даже утверждать, что они существуют, и уже отнюдь нельзя знать, каковы они. Действительно, во всяком исследовании определение цели фактов возможно лишь тогда, когда объединение этих фактов достаточно подвинулось вперед. Нет вопроса более сложного и менее способного быть решенным сразу. Ничто, следовательно, не убеждает нас заранее в том, что существует сфера социальной деятельности, в которой

желание богатства играет действительно первенствующую роль.

Вследствие этого содержание политической экономии, понятой таким образом, состоит не из реальностей, которые могли бы быть указаны пальцем, а из простых возможностей, из чистых представлений разума, то есть из фактов, которые экономист представляет себе относящимися к означенной цели и таких, какими он их себе представляет. Изучает ли он, например, то, что называет производством? Нет, он думает, что сразу может перечислить главнейшие

фигуры его и обозреть их. Это значит, что он узнал их существование не посредством наблюдения условий, от которых зависит изучаемое явление, так как иначе он начал бы с изложения опытов, из которых он вывел заключение. Если же в самом начале исследования и в нескольких словах он приступает к этой классификации, то это значит, что он получил ее простым логическим анализом. Он отправляется от идеи производства; разлагая ее, он находит, что она логически требует понятия о естественных силах, труде, орудиях или капитале, и, затем,

начинает обсуждать таким же образом производные идеи.

Самая основная экономическая теория, теория ценности, явно построена по тому же самому методу. Если бы ценность изучалась в ней так, как должна изучаться реальность, то экономист указал бы сначала, по какому признаку можно узнать предмет, носящий данное название, он классифицировал бы затем его виды, старался бы индуктивным путем определить, при действии каких факторов они изменяются, сравнил бы, наконец, добытые им различные результаты и вывел бы из них общую формулу.

Теория ценности могла бы, следовательно, явиться лишь тогда, когда наука подвинулась бы достаточно далеко. Вместо этого мы находим ее в самом начале и это потому, что для создания ее экономист ограничивается тем, что углубляется в себя, вдумывается в составленную им идею о ценности как о предмете, способном обмениваться; он находит, что она включает в себе идеи пользы, редкости и т.д. и на основании этих продуктов своего анализа строит свое определение. Конечно, он подтверждает его некоторыми примерами. Но если подумать о

бесчисленных фактах, с которыми должна считаться подобная теория, то можно ли признать хоть какую-нибудь доказательную силу за теми, неизбежно редкими фактами, которые по случайному внушению приводятся в подтверждение ее!

Итак, в политической экономии, как и в этике, доля научного исследования очень ограничена, доля же искусства преобладает. В этике теоретическая часть сводится к нескольким рассуждениям об идее долга, добра и права. Притом и эти отвлеченные рассуждения не составляют, строго говоря, науки, потому что цель их определить не то,

каково существующее фактически высшее правило нравственности, а то, каким оно должно быть. Точно так же в экономических исследованиях наибольшее место занимают, например, вопросы: должно ли общество быть организовано согласно воззрениям индивидуалистов или социалистов; должно ли государство вмешиваться в коммерческие и промышленные отношения или предоставлять их всецело частной инициативе; должен ли быть в монетной системе монометаллизм или биметаллизм и т.д. Законы в собственном смысле этого слова там не многочисленны.

Даже те, которые привыкли считать такими, не заслуживают обыкновенно этого наименования, но являются лишь максимами поведения, замаскированными практическими правилами. Вот, например, знаменитый закон спроса и предложения. Он никогда не был установлен индуктивно как выражение экономической действительности. Ни разу не было произведено никакого правильного сравнения для того, чтобы установить, что фактически экономические отношения управляются этим законом. Все, что могло быть сделано и что бышо

сделано, состояло в диалектическом доказательстве того, что индивиды должны действовать таким образом, если они хорошо понимают свои интересы, что всякий другой образ действия был бы им вреден и заключал бы в себе настоящее логическое заблуждение со стороны тех, кто последовал бы ему.

Логически необходимо, чтобы самые продуктивные промыслы были охотнее всего заняты, чтобы владельцы наиболее редких и чаще спрашиваемых предметов продавали их по самой высокой цене. Но эта вполне логическая необходимость вовсе не походит на необходимость,

представляемую истинными законами природы. Последние выражают действительные, а не желательные только отношения фактов. Сказанное об этом законе может быть повторено относительно всех положений, которые господствующая школа называет естественными и которые являются лишь частными случаями предшествующего. Они естественны, если угодно, в том лишь смысле, что указывают средства, которые естественно им может показаться естественным употреблять для достижения намеченной цели; но их не следует называть так, если под

естественным законом разумеют всякий, усматриваемый путем индукции, порядок природы. Они являются, в общем, лишь советами практической мудрости и если их могли считать с кажущейся основательностью за выражение самой действительности, то это потому, что правильно или неправильно нашли возможным предположить, что этим советам действительно следовало большинство людей и в большинстве случаев.

А между тем социальные явления суть предметы и о них нужно рассуждать как о предметах. Для

того, чтобы доказать это положение, не нужно философствовать об их природе, разбирать их аналогию с явлениями низших царств.

Достаточно указать, что для социолога они представляют единственное данное (datum).

Предметом не называется все, что дается, что предлагается, или, скорее, навязывается наблюдению.

Рассуждать о явлениях как о предметах, — значит рассуждать о них как о данных, составляющих точку отправления науки.

Социальные явления бесспорно обладают этим характером.

Наблюдению открыта не идея,

составляемая людьми о ценности, — она ему недоступна, — а ценности, действительно обменивающиеся в сфере экономических отношений. Нам дано не то или иное представление о нравственном идеале, а совокупность правил, действительно определяющих поведение. Нам дано не понятие о полезном или богатстве, а экономическая организация во всей ее полноте. Возможно, что социальная жизнь есть лишь развитие известных понятий, -но если предположить, что это так, то все-таки эти понятия не даны непосредственно. Дойти до них

можно, следовательно, не прямо, а лишь через посредство выражающих их явлений. Мы не знаем *a priori*, какие идеи лежат в основе различных течений, между которыми распределяется социальная жизнь, и существуют ли они; лишь дойдя по ним до их источников, мы узнаем, откуда они происходят.

Нам нужно, следовательно, рассматривать социальные явления сами в себе, отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъектов, их нужно изучать извне как внешние предметы, так как такими они предстают перед нами. Если этот характер внешности лишь

кажущийся, то иллюзия рассеется по мере того, как наука будет подвигаться вперед, и мы увидим, как внешнее, так сказать, войдет вовнутрь. Но решения нельзя предвидеть заранее, и даже если бы в конце концов у них не оказалось существенных свойств предметов, их все-таки надо обсуждать так, как будто бы эти свойства у них были. Это правило, следовательно, прилагается ко всей социальной реальности в ее целом, без всякого исключения. Даже те явления, которые, по-видимому, представляют собою наиболее искусственные сочетания, должны быть

рассматриваемы с этой точки зрения. Условный характер обычая или учреждения никогда не должен быть предполагаем заранее. Если, сверх того, нам будет позволено сослаться на нашу личную опытность, то мы можем уверять, что, действуя таким образом, часто имеешь удовольствие видеть, что факты, с виду самые произвольные, оказываются при внимательном наблюдении обладающими постоянством и правильностью, симптомами их объективности. Впрочем, сказано об отличительных признаках социального факта достаточно, чтобы успокоить нас относительно

характера этой объективности и показать нам, что она не призрачна. Действительно, предмет узнается главным образом по тому признаку, что он не может быть изменен простым актом воли. Это не значит, чтобы он не был подтвержден никакому изменению. Но для того, чтобы произвести это изменение, недостаточно пожелать этого, надо сделать еще более или менее напряженное усилие вследствие того сопротивления, которое он оказывает, и которое, притом, не всегда может быть побеждено. А, как мы видели, социальные факты обладают этим свойством. Они не

только не являются продуктами нашей воли, а сами определяют ее извне, они представляют собой как бы формы, в которые мы вынуждены отливать наши действия. Часто даже эта необходимость такова, что мы не можем избежать ее. Но если даже нам удастся восторжествовать, то сопротивление, встречаемое нами, уведомляет нас, что мы находимся в присутствии чего-то, от нас независимого. Следовательно, рассматривая социальные явления как предметы, мы лишь будем сообразоваться с их природой.

Реформа, которую нужно ввести в социологию, тождественна с

реформой, преобразовавшей в последние 30 лет психологию. Точно так же как Конт и Спенсер провозглашают социальные факты фактами природы, не рассуждая о них, однако, как о предметах, так и различные эмпирические школы давно уже признали естественный характер психологических явлений, все еще продолжая применять к ним чисто идеалистический метод. Действительно — эмпиристы, так же, как и их противники, прибегали исключительно к самонаблюдению. Факты же, наблюдаемые лишь на самом себе, слишком редки, скоропреходящи и изменчивы для

того, чтобы приобрести значение и власть над нашими привычными представлениями о них. Когда же последние не подчинены контролю фактов, у них нет противовеса, вследствие чего они занимают место фактов и составляют содержание науки. Так, ни Локк, ни Кондильяк не рассматривали психических явлений объективно. Они изучали не ощущение, а известную идею об ощущении. Поэтому-то, хотя в некоторых отношениях они и подготовили почву для научной психологии, но последняя возникла гораздо позднее, когда, наконец, дошли до сознания, что душевные

состояния могут и должны быть изучаемы извне наблюдением, а не с точки зрения испытывающего их духа.

Такова великая революция в области исследований данного рода. Все особые приемы, все новые методы, которыми обогатилась эта наука, суть лишь различные средства полнее осуществить эту основную идею. Этот же шаг нужно сделать и социологии. Нужно, чтобы из стадии субъективизма, из которой она еще не вышла, она перешла к объективизму...

Всякое научное исследование обращается на определенную группу явлений, отвечающих одному и тому же определению. Первый шаг социолога должен, следовательно, заключаться в определении тех предметов, о которых он будет рассуждать для того, чтобы и он сам, и другие знали, о чем идет речь. Это первое и необходимое условие всякого доказательства и всякой проверки; действительно, можно контролировать какую-нибудь теорию, лишь умея различать факты, о которых она должна дать отчет. Кроме того, так как это первоначальное определение

устанавливает самый объект науки,

то от него зависит, будет ли таким объектом предмет или нет.

Для того, чтобы оно было объективно, нужно, очевидно, чтобы оно выражало явление не на основании идеи о них разума, а на основании свойств, им присущих: нужно, чтобы оно характеризовало их по составным элементам их природы, а не по сообразности их с более или менее идеальным понятием. В тот же момент, когда исследование только что начинается, когда факты не подвергались еще никакой обработке, могут быть добыты лишь те их признаки, которые являются достаточно

внешними для того, чтобы быть непосредственно видимыми.

Несомненно, признаки, скрытые глубже, более существенны. Их ценность для объяснения явления выше, но они известны в этом фазисе науки и могут быть предвосхищены лишь в том случае, если реальность будет заменена каким-нибудь представлением разума.

Следовательно, содержание этого основного определения нужно искать среди первых. С другой стороны, ясно, что это определение должно будет содержать в себе без исключения и различия все явления, обладающие теми же признаками,

так как у нас нет ни основания, ни средств выбирать между ними. Эти признаки составляют тогда все известное нам о реальности; поэтому они должны иметь руководящее значение при группировке фактов. У нас нет никакого другого критерия, который мог бы, хотя отчасти, ограничить действие предыдущего. Отсюда следующее правило: “объектом исследования следует избирать лишь группу явлений, определенных предварительно некоторыми общими им внешними признаками, и включать в это исследование все явления, отвечающие данному определению”.

Мы констатируем, например, существование действий, обладающих тем внешним признаком, что совершение их вызывает со стороны общества особую реакцию, называемую наказанием. Мы составляем из них группу своего рода (*sui generis*), которую помещаем в одну общую рубрику. Мы называем преступлением всякое наказуемое действие и делаем его предметом особой науки криминологии. Точно так же мы наблюдаем внутри всех известных обществ существование еще отдельных маленьких обществ, узнаваемых нами по тому внешнему

признаку, что они образованы из лиц, связанных между собою известными юридическими узами и большей частью кровным родством. Из фактов, сюда относящихся, мы составляем особую группу и называем ее особым именем; это — явление семейной жизни. Мы называем семьей всякий агрегат подобного рода и делаем ее объектом специального исследования, не получившего еще определенного наименования в социологической терминологии. Переходя, затем, от семьи вообще к различным семейным типам, надо применять то же правило. Приступая, например, к

изучению клана, или материнской семьи, или семьи патриархальной, надо начать с определения их по тому же самому методу. Предмет каждой проблемы, будь она общей или частной, должен быть установлен согласно с тем же самым принципом.

Действуя таким образом, социолог с первого шага вступает прямо в сферу реального. Действительно такой способ классификации фактов зависит не от него, не от особого склада его ума, а от природы вещей. Признак, вследствие которого факты относятся к той или иной группе, не может быть указан всем, признан

всеми, и утверждения одного наблюдателя могут быть контролируемыми другими. Правда, понятие, составленное таким образом, не всегда совпадает и даже обыкновенно не совпадает с обыденным понятием. Так, например, очевидно, что факты свободомыслия или нарушения этикета, столь неуклонно и строго наказываемые во многих обществах, не считаются общим мнением преступными по отношению к этим обществам. Точно так же клан не есть семья в обыкновенном значении этого слова. Но это не важно, так как задача состоит не в том, чтоб

открыть средство, позволяющее нам довольно верно находить факты, к которым прикрепляются слова нынешнего языка и идеи, ими выражаемые; а нам нужно установить новые понятия, приспособленные при помощи специальной терминологии. Это не значит, конечно, что обыденное понятие бесполезно для ученого; нет, оно служит указанием. Оно уведомляет нас, что существует какая-то группа явлений, соединенных под одним и тем же названием, и, следовательно, по всему вероятно имеющих известные общие свойства; так как оно всегда

несколько отвечает явлениям, то иной раз может указывать нам, хотя и в общих чертах, в каком направлении нужно искать их. Но так как оно составлено грубо, то вполне естественно, что оно не вполне совпадает с научным понятием, составленным по *его* поводу...

Как бы очевидно и важно не было это правило, оно совсем не соблюдается в социологии. Именно потому, что в ней говорится о таких вещах, о которых мы говорим постоянно, как, например, семья, собственность, преступление и т.д., социологу кажется чаще всего бесполезным предварительно и

точно определить их. Мы так привыкли пользоваться этими словами, беспрестанно употребляемыми нами в разговоре, что нам кажется бесполезным определять тот смысл, в которых мы их употребляем. Ссылаются просто на предпринятое понятие. Последнее же очень часто двусмысленно. Эта двусмысленность служит причиною того, что. под одним и тем же термином и в одном и том же объясняют вещи, в действительности очень различные. Отсюда возникает неисправимая путаница.

Так существует два рода моногамических союзов: одни

фактические, другие носят юридический характер. У первых, у мужа бывает лишь одна жена, хотя юридически он может иметь их несколько; у вторых, ему законом воспрещается быть полигамистом. Фактическая моногамия встречается у многих животных пород и в некоторых низших обществах, и встречается не в спорадическом состоянии, а в таком же всеобщем распространении, как если бы она вынуждалась законом. Когда народ рассеян на обширном пространстве, общественная связь очень слаба и вследствие этого индивиды живут изолированно друг от друга. Тогда

каждый мужчина естественно старается добыть себе жену и только одну, потому что в этом состоянии разобщения ему трудно найти их несколько. Обязательная же моногамия наблюдается, наоборот, лишь в наиболее развитые обществах. Эти два вида супружеских товариществ имеют, следовательно, очень различное значение, а между тем они обозначаются одним и тем же словом; говорят и о некоторых животных, что они живут моногамически, хотя у них нет ничего похожего на юридическое обязательство. Так, Спенсер,

приступая к изучению брака, употребляет слово моногамия, не определяя его в обыкновенном и двусмысленном значении. Отсюда вытекает, что эволюция брака кажется ему содержащей необъяснимую аномалию, так как он думает, что высшая форма полового союза наблюдается уже в первые фазисы исторического развития, что она скорее исчезает в среднем периоде и затем появляется снова. Из этого он заключает, что нет правильного соотношения между социальным прогрессом вообще и прогрессивным движением к совершенному типу семейной жизни.

Надлежащее определение предупредило бы эту ошибку (то же отсутствие определения допускало утверждать, что демократия встречается одинаково в начале и в конце истории; истина в том, что первоначальная демократия и демократия нашего времени очень различны).

В других случаях очень стараются определить подлежащий исследованию объект; но вместо того, чтобы включить в определение и сгруппировать под одной и той же рубрикой все явления, имеющие одни и те же внешние свойства, между ними производят сортировку.

Выбирают некоторые из них и за одними этими избранниками признают право иметь данные свойства. Что же касается остальных, то их принимают как бы за узурпаторов этих отличительных признаков и с ними не считаются. Но легко предвидеть, что таким образом можно получить лишь субъективное и искаженное понятие.

Действительно, указанное исключение может быть сделано лишь по предвзятой идее, потому что в начале науки никакое исследование не успело еще установить наличность подобной узурпации, предполагая даже, что она возможна.

Выбранные явления были взяты лишь потому, что они более других отвечали тому идеальному представлению, которое составилось о данной реальности...

...Но скажут, определять явления по их видимым признакам, не значит ли давать поверхностным свойствам перевес над основными атрибутами; не значит ли это извратить Логический порядок, опирать вещи на их вершины, а не на их основания?

Так, определяя преступление при помощи понятия о наказании, почти неизбежно подвергают себя

обвинению в желании вывести преступление из наказания, или по известной цитате, в желании видеть источник стыда в эшафоте, а не в искупаемом действии. Но упрек покоится на смешении. Так как определение, правило которого мы только что дали, помещается в начале науки, то оно не может выражать сущность действительности, оно должно лишь доставить нам возможность достигнуть этого в будущем. Единственная его функция заключается в том, чтобы привести нас в соприкосновение с предметами, а так как последние

доступны разуму лишь извне, то оно и выражает их по их внешности. Но оно не объясняет их; оно доставляет лишь начальную точку опоры, необходимую нам для объяснения. Конечно, не наказание создает преступление, но лишь посредством его преступление обнаруживается внешним образом, и от него поэтому мы должны отправляться, если хотим дойти до понимания преступления.

Приведенное возражение было бы обосновано лишь в том случае, если бы внешние признаки были в то же время случайными, то есть если бы они не были связаны с основными свойствами. Действительно, при

этих условиях наука, отметив их, не имела бы никакой возможности идти дальше;

она не могла бы проникнуть глубже в реальность, так как не было бы никакого связующего звена между поверхностью и дном. Но если только принцип причинности не есть пустое слово, то в тех случаях, когда известные признаки одинаково и без всякого исключения встречаются во всех явлениях данной группы, можно быть уверенным, что они тесно связаны с природой этих явлений и что они отвечают ей. Если данная группа действий представляет одинаково ту

особенность, что с ней связана уголовная санкция, то это значит, что существует тесная связь между наказанием и присущими этим действиям свойствами. Поэтому, как бы поверхностны ни были эти свойства, но сами они наблюдались с помощью правильного метода, они хорошо указывают ученому тот путь, по которому он должен следовать, чтобы проникнуть в глубину вещей; они являются первым и необходимым звеном той цепи, которую образуют объяснения науки.

Так как внешность предметов дается нам ощущением, то, резюмируя, можно сказать, что наука, чтобы быть

объективной, должна отправляться не от понятий, образовавшихся без нее, а от ощущений. Она должна заимствовать прямо у чувственных данных элементы своих первоначальных определений. И действительно, достаточно представить себе, в чем состоит дело науки, чтобы понять, что она не может действовать иначе. Ей нужны представления, точно воспроизводящие предметы таковыми, каковы они суть, а не такими, какими их полезно представлять себе для практики. Те же представления, которые установились без ее помощи, не

отвечают этому условию. Нужно, следовательно, чтобы она создала новые и чтобы для этого, устраняя общепринятые понятия и слова, их выражающие, она вернулась к ощущению, первой и необходимой основе всякого понятия.

От ощущения исходят все общие идеи, истинные и ложные, научные или не научные. Точка отправления науки умозрительного значения не может, следовательно, быть иной, чем точка отправления обыденного или практического знания.

Лишь потом, в способе обработки общего содержания начинаются

различия. Но ощущение легко может быть субъективным. Поэтому в естественных науках принято за правило устранять чувственные данные, рискующие быть слишком субъективными, и удерживать исключительно те, которые представляют достаточную степень объективности. Таким образом, физик заменяет неясные впечатления, производимые температурой или электричеством, зрительными представлениями колебаний термометра или электрометра. Социолог должен прибегать к тем же предосторожностям. Внешние

признаки, на основании которых он определяет объект своих исследований, должны быть объективны, насколько только это возможно. Ложно принять за правило, что социальные факты тем легче могут быть представлены объективно, чем более освобождены они от индивидуальных фактов, их проявляющих.

Действительно, ощущение тем объективнее, чем постоянное объект, к которому оно относится, так как условием всякой объективности является существование постоянной и неизменной точки опоры, к которой могло бы быть отнесено

представление и которая давала бы возможность исключить из него все изменчивое, т.е. субъективное. Если единственно данная основа изменчива и никогда не остается себе равной, то нет никакой общей меры, и у нас нет никакого средства различать, что в наших впечатлениях зависит от внешнего мира и что исходит от нас. Но пока социальная жизнь не изолирована и не поставлена самостоятельно от воплощающих ее событий, она обладает именно этим свойством, вследствие того, что события эти в разных случаях и с минуты на минуту меняют свой вид и сообщают ей

свою подвижность, раз она не отделена от них. Она состоит тогда из ряда свободных течений, которые постоянно находятся на пути к изменению и не могут быть схвачены взором наблюдателя в одной определенной форме. Значит, это не та сторона, с которой ученый может приступить к изучению социальной действительности. Но мы знаем, что последняя представляет ту особенность, что, не переставая быть самой собой, она способна кристаллизоваться. Вне индивидуальных действий, ими возбуждаемых, коллективные привычки выражаются в

определенных формах, юридических и нравственных правилах, народных поговорках, фактах социальной структуры и т.д. Так как эти формы устойчивы и не меняются с различными применениями, делаемыми из них, то они составляют постоянный объект, постоянную меру, всегда доступную наблюдателю и не оставляющую места для субъективных впечатлений и чисто личных наблюдений. Постановление права есть то, что оно есть, и нет двух способов понимать его. Так как, с другой стороны, эти постановления являются лишь консолидированной

социальной жизнью, то правильно — если нет указаний на противоположное — изучать последнюю через них.

Когда, следовательно, социолог предпринимает исследование какого-нибудь класса социальных фактов, он должен попытаться рассматривать их с той стороны, с которой они представляются изолированными от своих индивидуальных проявлений.

Мы можем, следовательно, выставить три следующих правила:

1. Социальный факт нормален для данного социального типа,

рассматриваемого в определенном фазисе его развития, когда он имеет место в большинстве принадлежащих к этому виду обществ, взятых в соответствующем фазисе их эволюции.

2. Можно проверить выводы предшествующего метода, показав, что всеобщее распространение явления зависит от общих условий коллективной жизни данного социального типа.

3. Эта проверка необходима, когда факт относится к социальному виду, не закончившему процесса своего полного развития...

II

В настоящее время настолько привыкли еще решать указанные трудные вопросы сплеча, одним словом, настолько привыкли определять с помощью силлогизмов и поверхностных наблюдений нормален или нет данный социальный факт, что описанную процедуру сочтут, быть может, излишне сложной. По-видимому, для того, чтобы отличить болезнь от здоровья, нет надобности в столь сложных приемах. Разве мы не различаем их ежедневно? Это правда, но надо еще посмотреть, насколько удачно мы это делаем.

Трудность решения этих проблем затемняется для нас тем обстоятельством, что, как мы видим, биолог решает их с относительной легкостью. Но мы забываем, что ему гораздо легче, чем социологу, заметить, каким образом каждое явление затрагивает силу сопротивления организма, и отсюда определить его нормальный или ненормальный характер с точностью практически удовлетворительной. В социологии большая сложность и подвижность фактов принуждает и к большей осторожности, как это доказывают суждения партий об одном и том же явлении. Для того,

чтобы наглядно показать, насколько необходима эта осмотрительность, укажем на нескольких примерах, к каким ошибкам может привести недостаток ее, и в каком новом свете выступают перед нами самые существенные явления, когда их обсуждают под руководством правильного метода.

Преступление есть факт, патологический характер которого считается неоспоримым. Все криминалисты согласны с этим. Если они и объясняют этот характер преступления различным образом, то все-таки единодушно признают его. Между тем данный вопрос должен

был бы обсуждаться с меньшей поспешностью.

Действительно, применим предшествующие правила. Преступление наблюдается не только в большинстве обществ того или иного вида, но во всех обществах всех типов. Правда, оно изменяет форму: действия, квалифицируемые как преступные, не везде одни и те же, но всегда и везде существовали люди, которые поступали таким образом, что навлекали на себя уголовную репрессию. Если бы, по крайней мере, с постепенным культурным ростом общества пропорция преступности (то есть

отношение между годичной цифрой преступлений и цифрой народонаселения) понижалась, то можно было бы думать, что, не переставая быть нормальным явлением, преступление все-таки стремится утратить этот характер. Но у нас нет никакого основания признать существование подобного регресса. Многие факты указывают, по-видимому, скорее на движение в противоположном направлении. С начала столетия статистика дает нам средство следить за ходом преступности; последняя повсюду увеличилась. Во Франции увеличение достигает почти 30%.

Нет, следовательно, явления, представляющего более несомненные симптомы нормальности, потому что оно является тесно связанным с условиями всякой коллективной жизни. Делать из преступления социальную болезнь значило бы допускать, что болезнь не есть нечто случайное, а наоборот вытекает в некоторых случаях из основного устройства живого существа; это значило бы уничтожить всякое различие между физиологическим и патологическим. Конечно, может случиться, что преступность примет нормальную форму; это имеет место,

когда, например, она достигает
чрезмерного роста. Действительно,
не подлежит сомнению, что этот
излишек носит патологический
характер. Существование
преступности нормально лишь тогда,
когда оно достигает, а не
превосходит определенного для
каждого социального типа уровня,
который может быть, пожалуй,
установлен при помощи
предшествующих правил...

Мы приходим к выводу, по-видимому,
довольно парадоксальному. Не
следует обманывать себя; поместить
преступление в число явлений
нормальной социологии значит не

только признать его явлением, хотя и прискорбным, но неизбежным, вытекающим из непоправимой испорченности людей, но и утверждать при этом, что оно есть фактор общественного здоровья, составная часть всякого здорового общества. Этот вывод на первый взгляд настолько удивителен, что он довольно долго смущал нас самих. Но, победив это первое удивление, нетрудно найти причины, объясняющие и в то же время подтверждающие эту нормальность.

Во-первых, преступление нормально, так как без него общество было бы совершенно невозможно.

Преступление... представляет собою действие, оскорбляющее известные коллективные чувства, одаренные особой энергией и ясностью. Для того, чтобы в данном обществе перестали совершаться действия, признаваемые преступными, нужно было бы, чтобы чувства, ими оскорбляемые, встречались во всех индивидуальных сознаниях без исключения и с той степенью силы, какая необходима для того, чтобы сдерживать противоположные чувства. Предположим даже, что это условие могло бы быть выполнено, но преступление все-таки не исчезнет, а лишь изменит свою форму, потому

что та же самая причина, которая осушила бы источники преступности, немедленно открывала бы новые.

Действительно, для того, чтобы коллективные чувства, которым покровительствует уголовное право данного народа в данный момент его истории, проникли в сознания, до тех пор для них закрытые, или получили бы большую власть там, где до той поры у них ее не было достаточно, нужно, чтобы они приобрели большую интенсивность, чем та, которая у них была раньше. Нужно, чтобы общество в целом ощущало их с большей живостью, так

как из другого источника они не могут почерпнуть большую силу, необходимую для того, чтобы они могли проникнуть в индивидов, дотолем им особенно непокорных. Для того, чтобы исчезли убийцы, нужно, чтобы увеличилось отвращение к пролитой крови в тех социальных слоях, из которых формируются ряды убийц, а для этого нужно, чтобы оно увеличилось во всем обществе. Притом самое отсутствие преступления прямо способствовало бы достижению этого результата, так как чувство кажется гораздо более достойным уважения, когда его всегда и

одинаково уважают. Однако, при этом забывают, что эти важные элементы общественного сознания не могут усиливаться без того, чтобы не усилились одновременно и некоторые менее важные элементы, нарушение которых создавало до этого лишь чисто нравственные проступки; потому что последние являются лишь продолжением, лишь ослабленной формой первых. Так, воровство и простая неделикатность оскорбляют одно и то же альтруистическое чувство — уважение к чужой собственности. Но одно из этих действий оскорбляет данное чувство слабее, чем другое, а

так как, с другой стороны, это чувство в общем и среднем не достигает такой интенсивности, чтобы живо чувствовалось и более легкое из этих двух оскорблений, то к последнему относятся терпимее. Вот почему неделикатного только порицают, тогда как вора наказывают. Но если данное чувство станет настолько сильным, что совершенно уничтожит склонность к воровству, то оно сделается и более чутким к обидам, до тех пор затрагивавшим его лишь слегка; оно будет, значит, реагировать против них с большей живостью; эти нарушения подвергнутся более энергичному

осуждению и некоторые из них перейдут из списка простых нравственных проступков в список преступлений. Так, например, сделаются преступлениями неделикатные или неделикатно выполненные контракты, влекущие за собою (теперь) лишь общественное осуждение или гражданское взыскание. Представьте себе общество святых, идеальный, образцовый монастырь. Преступления в собственном смысле этого слова будут там неизвестны, но проступки, кажущиеся незначительными толпе, вызовут там то же негодование, какое вызывает

обыкновенное преступление в
обыкновенных людях. Если же у
этого общества будет власть судить и
качать, то оно назовет эти действия
преступными и будет обращаться с
ними как с таковыми. На том же
основании человек, вполне честный,
судит свои малейшие нравственные
слабости с тою же строгостью,
какую толпа сохраняет лишь для
вполне преступных действий. В
былое время насилия над личностью
были более часты, чем теперь,
потому что уважение к
человеческому достоинству было
слабее. Так как оно увеличилось, то
эти преступления сделались более

редки, но многие действия, оскорблявшие это чувство, попали тогда в уголовное право, в котором прежде они не занимали никакого места (клевета, обиды, диффамация и пр.).

Для того, чтобы исчерпать все логически возможные гипотезы, быть может, спросят, почему бы такому единодушию не распространиться на все коллективные чувства без исключения, почему бы даже наиболее слабым не сделаться достаточно энергичными для того, чтобы предупредить всякое нарушение. Нравственное сознание

общества воспроизводилось бы у всех индивидов целиком и с достаточной жизненностью для того, чтобы помешать всякому его оскорбляющему действию, вполне нравственным проступкам так же, как и преступлениям. Но такое абсолютное и универсальное однообразие совершенно невозможно, так как окружающая нас физическая среда, наследственные предрасположения, социальные влияния, от которых мы зависим, изменяются от одного индивида к другому и вносят разнообразие в нравственное сознание каждого. Невозможно,

чтобы все походили друг на друга в такой степени, невозможно уже потому, что у каждого свой собственный организм, который занимает особое место в пространстве. Вот почему даже у низших народов, у которых индивидуальность развита очень мало, она все-таки существует. Следовательно, так как не может быть общества, в котором индивиды не расходились бы более или менее с коллективным типом, то неизбежно некоторые из этих различий будут отмечены преступным характером. Этот характер сообщается им не действительной важностью их, а тем

значением, какое придает им общественное сознание. Если, следовательно, последнее обладает значительной силой и властью для того, чтобы сделать эти различия весьма слабыми по их абсолютной ценности, то оно будет также более чутко, более требовательно и, реагируя на малейшие отклонения с энергией, проявляемой им при других условиях лишь против более значительных отклонений, оно припишет им ту же важность, то есть отметит их как преступные.

Преступление, следовательно, необходимо, оно связано с основными условиями всякой

социальной жизни и уже потому полезно, так как условия, в тесной связи с которыми оно находится, в свою очередь необходимы для нормальной эволюции этики и права.

Действительно, теперь невозможно оспаривать того, что право и нравственность изменяются не только от одного социального типа к другому, но и для одного и того же типа при изменении условий коллективного существования. Но для того, чтобы эти эволюции были возможны, необходимо, чтобы коллективные чувства, лежащие в основе нравственности, не

сопротивлялись изменениям, то есть обладали бы умеренной энергией. Если бы они были слишком сильны, они не были бы пластичны.

Действительно, всякое устройство служит препятствием к переустройству и тем сильнее, чем прочнее первоначальное устройство. Чем отчетливее проявляется известная структура, тем больше сопротивление как для функционального, так и для анатомического строения. Если бы не было преступления, то данное условие не было бы удовлетворено, так как подобная гипотеза предполагает, что коллективные

чувства дошли до беспрецедентной в истории степени интенсивности. Все хорошо в меру и при известных условиях; нужно, чтобы авторитет нравственного сознания не был чрезмерен, иначе никто не осмелится поднять на него руку и оно очень легко зачленится в неизменной форме. Для его развития необходимо, чтобы оригинальность индивидов могла пробиться наружу; для того же, чтобы могла проявиться оригинальность идеалиста, мечтающего опередить свой век, нужно, чтобы была возможна и оригинальность преступника, стоящая ниже своего времени. Одна

немыслима без другой. Это еще не все. Случается, что кроме этой косвенной пользы, преступление само играет полезную роль в этой эволюции. Оно не только требует, чтобы был открыт путь для необходимых изменений, но в известных случаях прямо подготавливает эти изменения. При существовании преступности коллективные чувства обладают необходимою для восприятия новых форм гибкостью, и, кроме того, преступление иной раз даже предопределяет ту форму, которую они примут. Действительно, как часто оно является провозвестником

будущей нравственности, шагом к будущему! По афинскому праву Сократ был преступником и осуждение было вполне справедливым. Между тем его преступление — именно самостоятельность его мысли — было полезно не только для человечества, но и для его родины. Оно возвещало новую нравственность и новую веру, в которых нуждались тогда Афины потому, что традиции, в которых они жили до тех пор, не отвечали более условиям их существования. Этот пример не единственный, он воспроизводится в истории

периодически. Свобода мысли, которой мы теперь пользуемся, никогда не могла бы быть провозглашена, если бы правила, ее стеснявшие, не были нарушаемы прежде, чем были торжественно отменены. Между тем в этот момент это нарушение было преступлением, так как оно оскорбляло чувства, очень живые еще в большинстве сознания. А все-таки это преступление было полезно, так как оно служило прелюдией для преобразований, становившихся день ото дня все более необходимыми. Свободная философия имела своими предшественниками еретиков

всякого рода, которые справедливо преследовались светскою властью в течение всех веков и почти до нашего времени.

С этой точки зрения основные факты криминологии предстают перед нами в совершенно новом виде.

Вопреки ходячим воззрениям, преступник вовсе не антисоциальное существо, не особого рода паразит, не чуждое и неассимилирующееся тело в среде общества... Это нормальный фактор социальной жизни. Преступление, со своей стороны, не должно рассматриваться как зло, для которого не может быть достаточно тесных границ; не только

не нужно радоваться, когда ему удастся спуститься ниже обыкновенного уровня, но можно быть уверенным, что этот кажущийся успех связан с каким-нибудь социальным расстройством. Так, никогда цифра ударов и ран не падает так низко, как во время голода.

В то же время теория наказания обновляется, или, скорее, должна обновляться. Действительно, если преступление есть болезнь, то наказание является лекарством и не может рассматриваться иначе; поэтому все вопросы, возбуждаемые им, сводятся к тому, чтобы узнать,

чем оно должно быть для выполнения своей роли лекарства. Если же в преступлении нет ничего болезненного, то наказание не должно иметь целью исцелить от него, и его истинная функция должна быть отыскиваема в другом месте.

Следовательно, вышеизложенные правила являются не простым и мало полезным удовлетворением логического формализма, наоборот, в зависимости от их применения, самые существенные социальные факты изменяют свой характер...

...Если же оставить в стороне индивида, останется лишь общество;

следовательно, объяснения социальной жизни нужно искать в природе самого общества. Действительно, раз оно бесконечно превосходит индивида как во времени, так и в пространстве, оно в силах внушить ему образы действий и мысли, освященные его авторитетом. Это давление, являющееся отличительным признаком социальных фактов, есть давление всех на каждого.

Но, скажут, так как единственные элементы, из которых составлено общество, суть индивиды, то первичная основа социологических явлений может быть только

психологической. Рассуждая таким образом, можно так же легко доказать, что биологические явления с помощью анализа объясняются явлениями неорганическими.

Действительно, вполне достоверно, что в живой клетке находятся лишь молекулы неодушевленной материи. Только они ассоциированы в ней; эта ассоциация и служит причиной новых явлений, характеризующих жизнь;

явлений, даже зародыш которых невозможно найти ни в одном из ассоциированных элементов. Это потому, что целое не тождественно сумме своих частей, оно является

чем-то иным, со свойствами,
отличными от свойств,
составляющих его элементов.

Ассоциация не есть, как думали
прежде, явление само по себе
безразличное, лишь внешним
образом связующее добытые факты и
констатированные свойства. Не
является ли она, наоборот,
источником всех своих
новообразований, последовательно
возникавших в течение общей
эволюции? Какое же различие, если
не различие в ассоциации,
существует между низшими
организмами и остальными, между
живым организмом и клеткой, между

последней и неорганическими молекулами, ее составляющими? Все эти существа, в конце концов, разлагаются на элементы одной и той же природы; но эти элементы в одном случае слеплены, в другом ассоциированы; в одном ассоциированы одним способом, в другом — другим. Мы имеем даже право спросить себя, не проникает ли этот закон и в минеральное царство, и не отсюда ли происходят различия неорганических тел?

В силу этого принципа общество представляет собой не простую сумму индивидов, но систему, образовавшуюся от ассоциации их и

представляющую своего рода реальность (*sui generis*), наделенную своими особыми свойствами. Конечно, коллективная жизнь предполагает существование индивидуальных сознаний; но этого необходимого условия недостаточно. Нужно еще, чтобы эти сознания были ассоциированы, скомбинированы известным образом; из этой комбинации вытекает социальная жизнь, и потому эта комбинация и объясняет ее. Сплачиваясь друг с другом, взаимно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души дают начало новому существу, если угодно,

психическому, но представляющему психическую индивидуальность иного рода.

Следовательно, в природе этой индивидуальности, а не в природе составляющих ее единиц нужно искать ближайших и определяющих причин, относящихся к ней фактов. Группа думает, чувствует, действует совсем иначе, чем это сделали бы ее члены, если они были бы разъединены. Если, следовательно, отправляются от этих последних, то не поймут ничего из того, что происходит в группе. Одним словом, между психологией и социологией та же пропасть, как между биологией и

науками физико-химическими. Поэтому всякий раз, когда социальное явление прямо объясняется психическим явлением, можно быть уверенным, что объяснение ложно.

Быть может, возразят, что если общество уже сложилось и является действительно ближайшей причиной социальных явлений, то, однако, причины, приведшие к образованию этого общества, психологические. В данном случае согласны с тем, что, когда индивиды ассоциированы, их ассоциация может произвести новую жизнь, но предполагают, что сама ассоциация может возникнуть лишь

по причинам, коренящимся в индивиде.

Но в действительности, как бы далеко ни заглядывали вглубь истории, факт ассоциации окажется наиболее обязательным из всех, так как он источник всех других обязательств. Вследствие моего рождения я обязательно связан с определенным народом. Говорят, что впоследствии, сделавшись взрослым, я даю согласие на это обязательство уже тем, что продолжаю жить в моей стране. Но что за важность? Это согласие не лишает его повелительного характера. Принятое и охотно переносимое давление все-

таки остается давлением. К тому же, какую силу может иметь это согласие? Во-первых, оно вынуждено, так как в огромнейшем большинстве случаев нам материально и нравственно невозможно отделаться от нашей национальности; такая перемена считается обыкновенно даже отступничеством. Затем, оно не может касаться прошлого, на которое мы не могли согласиться и которое, однако, определило настоящее: я не желал того воспитания, которое получил, оно же более всякой другой причины прикрепляет меня к родной почве. Наконец, это согласие не

может иметь нравственной цены для будущего в той мере, в какой последнее неизвестно. Я не знаю даже всех тех обязанностей, которые могут быть когда-нибудь наложены на меня, как на гражданина; как же я могу заранее согласиться на них? Источник же всего обязательного, как мы это доказали, находится вне индивида. Пока, следовательно, не выходят за, пределы истории, факт ассоциации имеет тот же характер, как и остальные, и вследствие этого объясняется таким же образом. С другой стороны, так как все общества произошли от других обществ, то можно быть уверенным, что в

течение всей социальной эволюции не было ни одного момента, когда индивидам приходилось бы решать, вступить ли им в общежитие и в какое именно общежитие. Для того, чтобы поставить вопрос об этом, нужно было вернуться к началу великого общежития. Но всегда сомнительные решения подобных проблем ни в каком случае не могут поколебать тот метод, которому должны следовать при обсуждении доставленных историей фактов. Нам, следовательно, нет надобности останавливаться на них.

Но было бы странным непониманием нашей мысли, если

бы из предыдущего вывели заключение, что социология, по нашему мнению, должна или может оставить в стороне человека и его способности. Наоборот, ясно, что общие свойства человеческой природы участвуют в выработке социальной жизни. Только не они вызывают ее и не они дают ей ее особую форму; они лишь делают ее возможной. Производящими причинами коллективных представлений, эмоций, стремлений являются не известные состояния индивидов, а условия, в которых находится социальное тело в его целом. Конечно, они могут

реализоваться лишь при условии, что индивидуальные свойства не противятся этому; но последние являются лишь бесформенной материей, которую социальный фактор определяет и преобразует. Их содействие выражается исключительно в создании очень общих состояний, неясных и потому изменчивых предрасположений, которые сами по себе, без помощи постороннего фактора, не могли бы принять определенных и несложных форм, характеризующих социальные явления.

Какая бездна, например, существует между чувствами, испытываемыми

человеком перед силами,
превосходящими его силу, и религией
с ее верованиями, с ее столь
многочисленными и сложными
обрядами, с ее материальной и
нравственной организацией; между
психическими условиями симпатии,
испытываемой двумя существами
одной крови друг к другу, и
совокупностью юридических и
нравственных правил, определяющих
строение семьи, отношения людей
между собой, отношение их к вещам
и т.д.! Мы видели, что даже в таком
обществе, как неорганизованная
толпа, коллективные чувства,
возникающие в ней, могут не только

не походить, но и быть
противоположными средним
индивидуальным чувствам.
Насколько больше должно быть
различие, когда индивид испытывает
давление настоящего общества, где к
действию современников
присоединяется действие
предыдущих поколений и традиций.
Чисто психологическое объяснение
социальных фактов не преминет,
следовательно, упустить из виду все
то, что в них находится
специфического, то есть
социального.

Несостоятельность этого метода
ускользает от глаз стольких

социологов, потому что, принимая следствие за причину, они очень часто считали определяющими условиями социальных явлений известные, относительно определенные, особенные психические состояния, которые de facto представляют следствие их. Так, считали врожденным человеку известное религиозное чувство, известный минимум половой ревности, детской или родительской любви и т.д., и ими хотели объяснить религию, брак, семью. Но история показывает, что эти наклонности вовсе не неизменно присущи человеческой природе, они или

вполне отсутствуют при известных социальных условиях, или представляют такие видоизменения от одного общества к другому, что остаток, получающийся по исключении всех этих различий и один только могущий претендовать на чисто психологическое происхождение, превращается в нечто неопределенное и схематическое, оставляющее факты, нуждающиеся в объяснении, на бесконечном расстоянии. Это значит, что эти чувства вытекают из коллективной организации, а не служат ее основанием. Даже не доказано, что стремление к

общезниту было прирожденным инстинктом человечества. Гораздо естественнее видеть в нем постепенно выработавшийся в нас продукт социальной жизни, так как познано наблюдением, что животные склонны к общественной жизни или нет, смотря по тому, вынуждаются ли они к ней условиями обитаемой ими местности. И нужно прибавить, что даже между этими более определенными склонностями и социальной реальностью остается еще довольно значительное расстояние.

Существует, впрочем, средство почти совершенно изолировать

психологический фактор для того, чтобы можно было выяснить пространство его действия; для этого надо определить, каким образом относится к социальной эволюции раса. Действительно, этнографические свойства принадлежат к разряду органо-психических явлений.

Следовательно, с изменением их должна изменяться социальная жизнь, если только психологические явления имеют для общества то значение причины, которое им приписывают. А мы не знаем ни одного социального явления, которое находилось бы в безусловной

зависимости от свойства расы.
Конечно, мы не можем приписывать
этому положению силу законов; но
мы можем, по крайней мере,
утверждать его как факт,
почерпнутый нами из практики.
Самые разнообразные формулы
организации встречаются в
обществах одной и той же расы, и в
то же время наблюдаются самые
поразительные сходства между
обществами разных рас. Гражданская
община существовала у финикиян
так же, как у римлян и греков, и
находится в процессе образования у
кабилов. Патриархальная семья была
почти так же развита у евреев, как и

у индусов, но она не встречается у славян, которые между тем принадлежат к арийскому племени. Зато семейный тип, встречаемый у них, существует также и у арабов. Материнская семья и класс встречаются повсюду. Подробности судопроизводства, брачных обрядов и пр. одни и те же у народов, различных с этнографической точки зрения. Если это так, то значит психический элемент слишком общ для того, чтобы предопределять течение социальных явлений. Так как он не содержит в себе требования какой-нибудь социальной формы предпочтительно перед другой, то,

значит, он не может объяснить ни одной. Существует, правда, известная группа фактов, которые принято приписывать влиянию расы. Этим именно объясняют, почему развитие искусств и наук в Афинах было так значительно и быстро, а в Риме так медленно и слабо. Но это классическое истолкование фактов никогда не было достаточно доказано. Весь свой авторитет оно получает, по-видимому, от одной лишь традиции. Вовсе даже не попытались узнать, не возможно ли социологическое объяснение тех же явлений, а мы убеждены, что последнее оказалось бы успешным.

В общем, когда так поспешно объясняют артистический характер афинской цивилизации прирожденными эстетическими дарованиями, то поступают не лучше, чем в средние века, когда объясняли огонь флогистоном, а действие опиума — его снотворной силой.

Наконец, если правда, что источник социальной эволюции лежит в психической организации человека, то непонятно, как могла бы она возникнуть. Тогда бы пришлось допустить, что двигателем ее является известная внутренняя пружина, таящаяся в человеческой

природе. Но какая же пружина? Не тот ли инстинкт, о котором говорит Конт и который побуждает человека все более и более реализовать свою природу? Но признать это — значило бы ответить вопросом на вопрос и объяснять прогресс врожденной склонностью к прогрессу, настоящей метафизической сущностью, ничем, притом, недоказанной, так как разные виды животных, даже наиболее развитые, не испытывают никакой потребности прогрессировать, и даже между человеческими обществами много таких, которые остаются неподвижными

неопределенное время. Или, как это думает Спенсер, такой пружиной является потребность наибольшего счастья, которая все полнее удовлетворяется более сложными формами цивилизации? Тогда следовало бы доказать, что счастье возрастает вместе с цивилизацией...

Но этого мало; если принять один из этих постулатов, то историческое развитие не сделается от этого понятнее, так как такое объяснение было бы чисто телеологическим, а мы указали уже выше, что социальные факты, как и все явления природы, не могут быть объяснены одним обнаружением их

целесообразности. Наглядно доказать, что все более совершенные социальные организации, преемственно сменявшие друг друга в истории, все понятнее удовлетворяли тем или иным основным нашим стремлениям, отнюдь не значит объяснить, как они возникли. Тот факт, что они полезны, ничего не говорит нам о вызвавших их факторах. Если бы даже мы уяснили себе, каким образом заранее дошли до представления о них, каким образом заранее составили себе как бы план того, как они окажут нам те услуги, на которые мы рассчитываем, — это трудная задача,

— то все-таки те желания, предметом которых они тогда являлись бы, не были бы в силах вызвать их из небытия. Одним словом, даже допуская, что они служат средствами, необходимыми для достижения намеченной цели, мы оставляем открытым вопрос: как, то есть каким образом и из чего образовались эти средства?

Мы пришли, таким образом, к следующему правилу: определяющая причина данного социального факта должна быть отыскиваема среди предшествующих социальных фактов, а не в состояниях индивидуального сознания. С другой

стороны, вполне ясно, что все предыдущее относится как к определению функции, так и к определению причины. Функция социального факта может быть лишь социальной, то есть она заключается лишь в производстве социальнополезных результатов. Конечно, может случиться и действительно случается, что отраженным путем он служит также и индивиду. Но этот счастливый результат непосредственно его не оправдывает. Мы можем, следовательно, дополнить предыдущее положение, сказав, что: функции социального факта надо

искать в его отношении к какой-нибудь социальной цели.

Вследствие того, что социологи часто забывали это правило и рассматривали социальные явления со слишком психологической точки зрения, их теории и кажутся многим умам слишком туманными, шаткими и удаленными от особой природы явлений, которые они хотят объяснить. Особенно историк, близко знакомый с социальной реальностью, не может резко почувствовать, насколько неспособны эти слишком общие толкования связать факты; и отсюда, без сомнения, происходит отчасти то

недоверие, которое часто высказывала история к социологии. Это, конечно, не значит, что изучение психических фактов не нужно социологу. Если коллективная жизнь и не вытекает из жизни индивидуальной, то все же они тесно между собою связаны; если вторая не может объяснить первую, то она может, по крайней мере, облегчить ее объяснение. Во-первых, как мы указали, бесспорно, что социальные факты являются результатами особой обработки фактов психических. Но, кроме того, самая эта обработка отчасти аналогична той, которая происходит во всяком

индивидуальном знании и постепенно все более видоизменяет составляющие его первичные элементы (ощущения, рефлексy, инстинкты). Не без основания можно сказать о “я”, что оно само есть общество так же, как и организм, хотя и иного рода, и давно уже психологи отметили всю важность фактора ассоциации для объяснения жизни духа. Знакомство с психологией еще больше, чем изучение биологии, составляет необходимую пропедевтику для социолога. Но оно будет полезно ему лишь в том случае, если он, приобретая его, освободится от его

подавляющего влияния и выйдет за пределы данных психологии, дополняя их изучением специально социологическим. Нужно, чтобы он отказался делать из психологии в некотором роде центр своих операций, от которого должны исходить и к которому должны возвращаться его экскурсии в мир социальных явлений; нужно, чтобы он проник в сокровенную глубь социальных фактов, наблюдал их прямо, непосредственно, ища в науке об индивидуе лишь общей подготовки, а в случае нужды и полезных указаний.

Так как факты социальной морфологии носят тот же характер, как и факты физиологические, то при объяснении их также следует руководиться только что изложенными правилами. Однако из предыдущего следует, что им принадлежит господствующая роль в коллективной жизни, а вследствие этого и в социологической науке.

Действительно, если факт ассоциации, как мы на это указывали выше, имеет решающее значение для явлений, то последние должны изменяться вместе с формами этой ассоциации, то есть смотря по способам группировки составных

частей обществ. А так как, с другой стороны, известное целое, образующееся от соединения разнородных элементов, входящих в состав общества, образует внутреннюю среду последнего (точно так же, как совокупность анатомических элементов, известным образом соединенных и размещенных в пространстве, составляет внутреннюю среду организмов), то можно сказать: начало каждого социального процесса, представляющего некоторую важность, должно быть отыскиваемо в устройстве внутренней социальной среды.

Можно даже пойти еще далее. Действительно, элементы, составляющие эту среду, двоякого рода: предметы и люди. В число предметов нужно включить, кроме находящихся в обществе материальных предметов, еще продукты предшествовавшей социальной деятельности: действующее право, укоренившиеся нравы, артистические и литературные памятники и пр. Очевидно, однако, что ни от той, ни от другой группы предметов не может исходить толчок к социальным преобразованиям; они не содержат в себе никакой

двигательной силы. Конечно, при объяснении этих преобразований их нужно принимать в расчет. Они, действительно, имеют некоторое значение для социальной эволюции; в зависимости от них изменяются ее быстрота и даже направление; но в них нет ничего, что могло бы привести ее в движение. Они представляют собою материю, к которой прилагаются живые силы общества, но сами по себе не развивают никакой живой силы. Следовательно, активным фактором остается собственно другой элемент среды — люди.

Поэтому главное усилие социолога должно быть направлено к тому, чтобы найти различные свойства этой среды, способные оказать влияние на развитие социальных явлений. До сих пор мы нашли два ряда свойств, вполне отвечающих условию; это число социальных единиц, или, как мы уже сказали, величина общества и степень концентрации массы, то, что мы назвали динамической плотностью. Под этим словом нужно разуметь не чисто материальную сплоченность агрегата, которая не может иметь значения, если индивиды, или, скорее, группы индивидов разделены

нравственными пустотами, но нравственную сплоченность, для которой первая служит лишь вспомогательным средством, а довольно часто и следствием. Динамическая плотность, при равной величине общества, определяется числом индивидов, действительно находящихся не только в коммерческих, но и в нравственных отношениях, то есть не только обменивающихся услугами или конкурирующих друг с другом, но и живущих общей жизнью. Так как при чисто экономических отношениях люди остаются чужды друг другу, то можно вести долгое

время отношения этого рода, не участвуя в коллективной жизни. Сношения, завязывающиеся через границы, разделяющие народы, не делают этих границ не существующими. Общая же жизнь может зависеть лишь от тех, кто действительно в ней сотрудничает. Вот почему степень сращения социальных сегментов лучше всего выражает динамическую плотность какого-нибудь народа. Так как если всякий отдельный агрегат составляет одно целое, особую, отличную от других индивидуальность, то это значит, что деятельность его членов обыкновенно локализована в

пределах агрегата, если же, наоборот, эти отдельные общества слились или стремятся слиться в единых целях, то это значит, что в той же мере расширялась сфера социальной жизни.

Что же касается материальной плотности, — под ней разумеется не только число жителей на единице поверхности, но и развитие путей сообщения и переселений, — то она развивается обыкновенно параллельно динамической плотности и в общем может служить масштабом для измерения последней. Так как если различные части народонаселения стремятся

сблизиться, то они неизбежно должны пролагать себе пути для этого сближения; с другой стороны, между отдельными пунктами социальной массы могут установиться сношения лишь тогда, когда расстояние, их разделяющее, не является препятствием, то есть, когда оно на самом деле сокращено. Впрочем, существуют исключения..., и мы сделали бы серьезные ошибки, если бы всегда судили о нравственной концентрации общества по степени его материальной концентрации. Дороги, железные дороги и пр. могут служить деловым сношениям более,

чем сближению народов, и выразят тогда весьма несовершенно это последнее. Так, в Англии, отличающейся большей материальной плотностью, чем Франция, срастание сегментов гораздо менее подвинулось вперед, что доказывается стойкостью местной и областной жизни... Всякое увеличение в размере и динамической плотности обществ, делая социальную жизнь более интенсивной, расширяя умственный горизонт и сферу деятельности индивидов, глубоко изменяет основные условия коллективного существования...

Однако то преобладающее значение, которое мы приписываем социальной среде и, в частности, среде человеческой, не значит, что в ней нужно видеть последний и основной факт и что дальше идти незачем. Очевидно, напротив, что состояние ее в каждый исторический момент зависит от социальных причин и одни из этих причин присущи самому обществу, а другие зависят от взаимодействия этого общества с соседними. Кроме того, наука не знает первых причин в абсолютном значении этого слова. Для нее основным фактом является факт достаточно общий для того,

чтобы объяснить значительное число других фактов. Социальная среда несомненно есть именно такой фактор, так как происходящие в ней изменения, каковы бы ни были их причины, отражаются во всех направлениях в социальном организме и не могут не затронуть более или менее всех его функций.

Сказанное нами об общей среде общества вполне применимо и к среде всякой группы, заключающейся в обществе. Так, например, смотря по большей или меньшей многочисленности и замкнутости семьи, резко изменяется характер домашней жизни. Точно так же, если

бы профессиональные корпорации изменились таким образом, что каждая из них распространилась бы по всей территории, вместо того, чтобы оставаться как прежде заключенной в пределах одной общины, то очень изменилась бы и их деятельность. Говоря вообще, профессиональная жизнь будет совсем иной, смотря по тому, будет ли среда, пригодная для каждой профессии, организована прочно или же слабо, как теперь. Однако действие этих специальных сред не может быть так же важно, как действие общей среды, так как первые подвержены влиянию

последней и к ней приходится всегда возвращаться. Ее давление на частные группы и обуславливает изменения в их устройстве.

Этот взгляд на социальную среду как на определяющий фактор коллективной эволюции в высшей степени важен, так как если отбросить его, то социология не сможет установить никакой причинной зависимости.

Действительно, раз устранен этот разряд причин, то не существует совокупности условий, от которых могли бы зависеть социальные явления, так как если внешняя

социальная среда, то есть-среда, составленная окружающими обществами, и способна иметь какое-нибудь влияние, то лишь на оборонительные и наступательные действия общества и, кроме того, она может обнаружить свое влияние лишь через посредство внутренней социальной среды. При признании ее главной причиной причины исторического развития находились бы не среди текущих событий, а лежали бы всецело в прошлом. Они сами были бы частями этого развития, лишь более древними его фазисами. Современные события социальной жизни вытекали бы не из

современного состояния общества, а из событий предшествовавших, из исторического прошлого, и социологические объяснения сводились бы исключительно к установлению связи между прошлым и настоящим.

Правда, может показаться, что этого достаточно. Не говорят ли обыкновенно, что цель истории состоит именно в том, чтобы связать события в порядке их преемственности? Непонятно, однако, каким образом данная ступень цивилизации может служить определяющей причиной следующей за ней ступени культурного развития.

Этапы, которые постепенно пробегает человечество в своем культурном развитии, не возникают одни из других. Понятно, что успехи, достигнутые в определенную эпоху в юридическом, экономическом, политическом строе и т.д., делают возможными дальнейшие успехи, но в чем же они их предопределяют? Они служат точкой отправления, позволяющей нам идти дальше, но что же побуждает нас идти дальше? Здесь нужно было бы допустить внутреннее стремление, толкающее человечество идти все дальше и дальше, возможно, для того чтобы вполне выразить свою природу,

чтобы увеличить свое счастье, и задачей социологии было бы тогда отыскание порядка развития этого стремления. Но даже оставляя в стороне все трудности, связанные с этой гипотезой, во всяком случае надо признать, что закон, выражающий это развитие, не устанавливает никакого отношения. Действительно, последнее может быть установлено лишь между двумя данными фактами, а указанное стремление, признаваемое причиной развития, не дано, оно лишь предположено и выведено разумом из тех действий, которые ему приписывают. Это — роль

двигательной способности, которую мы для уяснения себе движений воображаем лежащую в их основе; однако, действительной причиной какого-нибудь движения может быть лишь другое движение, а не подобная способность к движению.

Следовательно, экспериментальным путем мы нашли бы лишь ряд изменений, между которыми нет причинной связи. Предшествующее состояние не производит последующее, отношение между ними исключительно хронологическое. При таких условиях никакое научное предсказание невозможно. Мы

можем сказать, как явления следовали друг за другом до сих пор, но не можем знать, как они будут следовать друг за другом в будущем, потому что причина, от которой они признаются зависящими, не определена и не может быть определена наукой. Правда, обыкновенно допускают, что эволюция будет продолжаться в том же направлении, в каком она шла раньше, но это простое предположение. Ничто не убеждает нас, что реализованные факты достаточно полно выражают характер указанного стремления для того, чтобы можно было предсказать

тот предел, к которому она стремится, по пройденным им стадиям развития. Почему направление, в котором оно развивается и которое оно сообщает, должно быть прямолинейным?

Вот почему фактически число причинных отношений, установленных социологами, так ограничено. За немногими исключениями, наиболее блестящим примером которых является Монтескье, древняя философия истории старалась только открыть общее направление, в котором движется человечество, не пытаясь связать фазисы этой эволюции с

каким-нибудь сопутствующим условием. Как ни велики услуги, оказанные Контом социальной философии, но пределы, в которые он заключает социологическую проблему, не отличаются от предыдущих. Поэтому его знаменитый закон трех стадий развития не выражает никакого отношения причинности; даже если он верен, он все же может быть лишь эмпирическим. Это общий, суммированный взгляд на протекшую историю человечества. Вполне произвольно Конт считает третью стадию конечным состоянием человечества. Откуда мы

знаем, что в будущем не возникнет нового состояния? Наконец, закон, господствующий в социологии Спенсера, по-видимому, такого же характера. Даже если правда, что теперь мы склонны искать счастье в промышленной цивилизации, то ничто не убеждает нас в том, что в будущем мы не будем искать его в чем-нибудь другом.

Распространенность и устойчивость рассматриваемого метода объясняется тем, что в социальной среде видели средство, которым реализуется прогресс, а не причину, которой он определяется.

С другой стороны, отношением к этой среде должна измеряться также полезность, или, как мы сказали, функция социальных явлений. Среди причиняемых ею изменений пригодны лишь те, которые отвечают ее состоянию, так как она является необходимым условием коллективного существования. С этой точки зрения только что изложенный взгляд является, думается нам, решающим, потому что лишь он объясняет, каким образом полезный характер социальных явлений может изменяться, не находясь в то же время в зависимости от

произвольных устройств.

Конечно, если представить себе социальную эволюцию, движимой известного рода *vis a tergo*, толкающей людей вперед, то в той мере, в какой это движущее стремление может иметь лишь одну цель, оно может дать лишь один масштаб для определения полезности или вредоносности социальных явлений. Отсюда следует, что существует и может существовать лишь один тип социальной организации, вполне пригодный для человечества, и что различные исторические общества являются лишь последовательными

приближениями к этому единому образцу. Нет надобности доказывать, насколько подобная прямолинейность непримирима с признанным теперь разнообразием и сложностью социальных форм. Если, наоборот, учреждения могут быть пригодны или непригодны лишь по отношению к данной среде, то, так как эти среды различны, существуют различные масштабы для оценки, и вследствие этого типы, качественно вполне отличные друг от друга, могут быть одинаково обоснованы природой социальной среды.

Вопрос, о котором мы сейчас говорили, тесно связан с вопросом

об установлении социальных типов. Если существуют социальные виды, то это значит, что коллективная жизнь зависит прежде всего от комбинаций условий, представляющих известное разнообразие. Если бы, наоборот, главные причины социальных явлений были все в прошлом, то каждый народ был бы лишь продолжением народа предшествовавшего, разные общества потеряли бы свою индивидуальность и стали бы лишь различными моментами одного и того же развития.

С другой стороны, так как организация социальной среды настолько зависит от способа образования социальных агрегатов, что оба эти выражения в сущности даже синонимы, то у нас есть теперь доказательство того, что нет признаков более существенных, чем указанные нами как основание социологической классификации.

Наконец, теперь ясно более, чем прежде, насколько несправедливо было бы, основываясь на словах “внешние условия” и “среда”, обвинять наш метод в том, что он ищет источники жизни вне живого. Совсем наоборот, все только что

прочитанные рассуждения сводятся к той идее, что причины социальных явлений находятся внутри общества.

В желании вывести внутреннее из внешнего можно было бы скорее упрекнуть ту теорию, которая выводит общество из индивида, потому что она объясняет социальное существование чем-то отличным от него и хочет вывести целое из части. Изложенные принципы так мало игнорируют самобытный характер всего живого, что, если применить их к биологии и психологии, то придется признать, что индивидуальная жизнь также

вырабатывается всецело внутри индивида.

IV

... Конечно, мы считаем принуждение характеристическим признаком всякого социального факта. Но это принуждение вытекает не из более или менее хитрых уловок, имеющих целью скрыть от людей те западни, в которые они сами себя поймали. Оно обязано своим происхождением тому, что индивид оказывается в присутствии силы, перед которой он преклоняется, которая над ним господствует, но эта сила естественна. Она вытекает не

из договорного устройства,
возникшего по воле человека, а из
сокровенных недр данной
реальности и является необходимым
продуктом данных причин. Поэтому,
для того, чтобы принудить индивида
добровольно подчиниться ему, не
нужно прибегать ни к какому
ухищрению; достаточно, чтобы он
осознал свою естественную
зависимость и слабость, чтобы он
составил себе о них или
символическое или чувственное
представление при помощи религии,
или определенное и точное понятие
при помощи науки.

Так как превосходство общества над индивидом не только физическое, но интеллектуальное и нравственное, то ему нечего бояться свободного исследования, если только последнее ведется правильно. Разум, показывая человеку, насколько социальное бытие богаче, сложнее, прочнее бытия индивидуального, может лишь открыть ему ясные основания для требуемого от него повиновения и для чувств привязанности и уважения, которые привычка запечатлела в его сердце...

Вот почему не всякое принуждение нормально. Этому имени заслуживает лишь принуждение, отвечающее

какому-нибудь социальному превосходству, т.е. интеллектуальному или моральному. Но принуждение, которое оказывает один индивид на другого, пользуясь тем, что он сильнее или богаче, особенно если это богатство не выражает его общественного значения, не нормально и может поддерживаться только путем насилия.

Поэтому лишь очень поверхностная критика может упрекнуть наш взгляд на общественное принуждение в том, что он повторяет теорию Гоббса и Маккиавели. Но если, в противоположность этим

философам, мы утверждаем, что социальная жизнь естественна, то это не значит, что мы находим источник ее в природе индивида; это значит только, что она прямо вытекает из коллективного существа, которое само по себе является реальностью *sui generis*; это значит, что она получается от той специальной обработки, которой подвергаются индивидуальные сознания в силу факта ассоциации и откуда берет свое начало новая форма существования...

Глава шестая

ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

У нас есть только одно средство доказать, что одно явление служит причиной другого, это — сравнить случаи, когда они одновременно присутствуют или отсутствуют, и посмотреть, не свидетельствуют ли изменения, представляемые этими различными комбинациями обстоятельств о том, что одно

зависит от другого. Когда они могут быть воспроизведены искусственно, по воле исследователя, метод является экспериментальным в собственном смысле этого слова. Когда же, наоборот, произведение фактов не в нашем распоряжении, и мы можем сравнивать лишь факты, возникшие не по нашей воле, тогда употребляемый метод является косвенно экспериментальным, или сравнительным.

Мы видели, что социологическое объяснение заключается исключительно в установлении причинной связи, или в открытии причины явления, или в определении

полезных следствий данной причины. С другой стороны, так как социальные явления, очевидно, ускользают от власти исследователя, то сравнительный метод — единственный пригодный для социологии. Конт, правда, нашел его недостаточным и счел необходимым дополнить его так называемым им историческим методом, но причиной такого взгляда является особое понимание социологических законов. Последние, по его мнению, должны выражать главным образом не отношения причинности, а то направление, в котором вообще движется человеческая эволюция;

они не могут быть, следовательно, открыты при помощи сравнений, потому что для того, чтобы иметь возможность сравнить разные формы, принимаемые социальным явлением у различных народов, нужно сперва отделить его от его преходящих форм. Если же начать с такого раздробления развития человечества на отделы, то окажется невозможным определять его направление. Для того, чтобы определить последнее, нужно начать не с анализа, а с широкого синтеза; нужно сблизить и соединить в одной и той же инструкции преемственные стадии развития человечества, так

чтобы заметить (по Конту)
постоянное развитие каждого
физического, интеллектуального,
морального и политического
состояния...

Правда, Милль объявил
экспериментальный метод, даже
косвенный, неприменимым к
социологии, но его аргументация
утрачивает значительную долю своей
силы от того, что он применяет ее
одинаково к биологическим
явлениям и даже к наиболее
сложным физико-химическим
фактам; но теперь излишне
доказывать, что химия и биология
могут быть лишь науками

экспериментальными. Нет, следовательно, причины считать более обоснованными и суждения Милля, касающиеся социологии, потому что социальные явления отличаются от предыдущих лишь большей сложностью. Это различие может быть причиной того, что употребление экспериментального метода в социологии является более трудным, чем в других науках, но не видно, почему бы оно было вполне невозможно.

Вся эта теория Милля покоится на постулате, связанном несомненно с основными принципами его логики, но противоречащего всем выводам

науки. Действительно, он признает, что одно и то же последующее не всегда вытекает из одного и того же предыдущего, а может зависеть то от одной причины, то от другой. Это представление о причинной связи, отнимая у нее всякую определенность, делает ее почти недоступной научному анализу, потому что вносит такую сложность в переплетающуюся цепь причин и следствий, что ум теряется в ней безвозвратно. Если следствие может вытекать из разных причин, то для того, чтобы узнать, что определяет его при данных обстоятельствах, нужно бью бы произвести опыт при

условии такого изолирования, которое совершенно неосуществимо, особенно в социологии.

Но эта пресловутая аксиома множественности причин есть отрицание принципа причинности. Конечно, если согласиться с Миллем, что причина и следствие — абсолютно гетерогенны, что между ними не существует никакой логической связи, то нет никакого противоречия в том, чтоб допустить, что какое-нибудь следствие может вытекать то из одной, то из другой причины. Если связь, соединяющая “С” с “А”, — чисто хронологическая, то она не исключает другую связь

того же рода, которая соединила бы, например, “С” с “В”. Если же, наоборот, причинная связь допускает определение ее, то она не может быть настолько неопределенна. Если она представляет собою отношение, вытекающее из природы вещей, то известное следствие может стоять в причинной зависимости лишь от одной причины, так как оно может выразить лишь одну природу. Но лишь философы сомневались в познаваемости причинной связи. Для ученого она является уже решенным вопросом и предполагается самим методом науки. Как иначе объяснить и столь

важную роль дедукции в экспериментальных науках, и основной принцип пропорциональности между причиной и следствием? Что же касается тех случаев, которые приводятся в подтверждение, и в которых предполагается множественность причин, то для того, чтобы они имели доказательную силу, нужно было бы предварительно установить или то, что эта множественность не просто кажущаяся, или что внешнее единство следствия не скрывает в себе действительной множественности. Сколько раз науке

приходилось сводить к единству
причины, множественность которых
казалась на первый взгляд
несомненной. Стюарт Милль сам
дает пример этого, указывая, что по
современным теориям производство
теплоты трением, ударом,
химическим действием и т.д.
вытекает из одной и той же причины.
Наоборот, когда дело касается
следствия, ученый часто различает
то, что смешивает толпа. По ходячим
воззрениям слово лихорадка
обозначает одну и ту же болезнь, для
науки же существует много
специфически различных лихорадок
и множественность причин

находится в связи со
множественностью следствий;

если же между всеми этими видами
существует нечто общее, то это
потому, что причины их тоже сходны
в некоторых своих свойствах.

Тем важнее изгнать этот принцип из
социологии, учитывая, что многие
социологи до сих пор находятся под
его влиянием, даже тогда, когда они
не возражают против применения
сравнительного метода.

Так, обыкновенно говорят, что
преступление может быть одинаково
вызвано самыми различными

причинами; что то же самое имеет место относительно самоубийства, наказания и т.д. Если вести опытное исследование в таком направлении, то, сколько бы ни соединяли значительных фактов, никогда не получают точных законов, определенных отношений причинности. При таких условиях можно лишь связать плохо определенное последующее с неясной и неопределенной группой предшествующих. Если, следовательно, применять сравнительный метод научно, т.е. сообразуюсь с тем принципом причинности, который

устанавливается самой наукой, то за основание делаемых сравнений нужно принять следующее положение: одному и тому же последствию соответствует всегда одна и та же причина. Так, пользуясь вышеприведенными примерами, если самоубийство зависит от многих причин, то это значит, что в действительности существует несколько видов самоубийств. То же самое можно сказать и о преступлении. Для наказания же наоборот, если признать, что оно одинаково хорошо объясняется различными причинами, то это значит не замечать общего всем его

антецедентам элемента, в силу которого они и производят свое общее действие.

II

Однако, если различные приемы сравнительного метода и применимы к социологии, то не все они имеют для нее одинаковую доказательную силу.

Так называемый метод остатков, хотя и составляет одну из форм экспериментального метода, не имеет однако никакого применения в изучении социальных явлений. Он

может иметь место лишь в довольно развитых науках, так как предполагает известным большое количество законов; притом, социальные явления слишком сложны для того, чтобы в каком-либо данном случае можно было бы точно вычестть действие всех причин, кроме одной.

Та же причина делает затруднительной применение метода согласия и метода различий.

Действительно, они предполагают, что сравнительные случаи или совпадают, или различаются только в одном пункте. Конечно, нет науки, которая была бы в силах когда-либо

произвести опыты, относительно которых было бы неоспоримо установлено, что они совпадают или различаются только в одном пункте. Никогда нельзя быть уверенным, что не пропущено какое-нибудь обстоятельство, совпадающее или различающееся так же и в то же время, как и единственное известное. Между тем, хотя полное исключение всякого случайного элемента является идеалом, которого в действительности нельзя достигнуть, но фактически физико-химические и даже биологические науки достаточно приближаются к нему для того, чтобы в значительном

числе случаев доказательство их могло бы считаться практически достаточным. Совсем иное дело в социологии вследствие слишком большой сложности явлений и связанной с ней возможности произвести искусственный опыт. Как нельзя составить даже приблизительно полный список всех фактов, сосуществующих в данном обществе или преемственно сменявших друг друга в течение его истории, так никогда нельзя быть, даже в некоторой степени, уверенным, что два народа совпадают или различаются во всех отношениях, кроме одного. Шансов

пропустить какое-нибудь явление больше, чем шансов заметить их все. Следовательно, такой метод доказательств может породить лишь предположения, которые сами по себе совсем лишены всякого научного характера.

Но совсем другое дело — метод сопутствующих изменений. Действительно, для того, чтобы он имел доказательную силу, не нужно, чтобы все изменения, отличные от сравниваемых, были строго исключены. Простая параллельность изменений, совершающаяся в двух явлениях, если только она констатирована в достаточном числе

довольно разнообразных случаев, служит доказательством наличности между ними причинного отношения. Преимущество этого метода заключается в том, что с помощью его причинная связь настигается не извне, как в предыдущих методах, а изнутри. Он обнаруживает нам не внешнюю только связь двух фактов, при которой они сопровождают или исключают друг друга, но при которой ничто прямо не доказывает наличности внутренней связи между ними, наоборот, он обнаруживает нам их соответствие друг другу и соответствие постоянное, по крайней мере, в количественном

отношении. Уже одного этого соответствия достаточно, чтобы доказать, что они не чужды друг другу. Способ развития какого-нибудь явления выражает его природу; для того, чтобы процессы развития двух явлений соответствовали друг другу, необходимо соответствие выражаемых ими свойств. Постоянная параллельность изменений есть, следовательно, сама по себе закон, каково бы ни было состояние явлений, остающихся вне сравнений. Поэтому, чтобы уничтожить ее, недостаточно показать, что она опровергается

некоторыми отдельными случаями применения метода согласия или различия. Это значило бы приписать этому роду доказательств такое значение, какого они не могут иметь в социологии. Когда два явления регулярно изменяются параллельно друг другу, следует признавать между ними это отношение даже тогда, когда одно из этих явлений появилось без другого, так как может случиться, что или действие враждебной причины ее следствие, или же что следствие находится налицо, но в другой форме, чем то, которое наблюдали перед этим. Конечно, есть повод пересмотреть

снова факты, но не надо отбрасывать сразу результаты правильно веденного доказательства.

Правда, законы, добытые этим методом, не всегда представляются сразу в форме отношений причинности. Сопутствие изменений может зависеть не от того, что одно явление есть причина другого, а от того, что оба они следствия одной и той же причины, или от того, что между ними существует третье промежуточное, но не замеченное явление, которое есть следствие первого и причина второго.

Результаты, к которым приводит этот метод, должны быть, следовательно,

подвергнуты толкованию. Но какой же экспериментальный метод позволяет открыть причинное отношение механически, без того, чтобы установленные им факты не нуждались в обработке разумом? Важно только, чтобы эта обработка совершалась под руководством правильного метода. Метод, пригодный для нее, следующий. Сперва надо искать дедуктивным путем, каким образом один из двух членов отношения мог произвести Другой; затем, надо постараться проверить результат этой дедукции при помощи опытов, то есть новых сравнений. Если дедукция возможна

и проверка удалась, то доказательство можно считать оконченным. Наоборот, если между этими фактами не заметят никакой прямой связи, особенно же если гипотеза такой связи противоречит уже доказанным законам, то нужно приняться за разыскивание третьего явления, от которого оба другие одинаково зависят, или которое могло бы служить промежуточным между ними. Можно установить, например, самым достоверным образом, что наклонность к самоубийству изменяется параллельно со стремлением к образованию, но невозможно понять,

каким образом образование ведет к самоубийству; такое объяснение противоречило бы законам психологии. Образование, особенно же начальное образование, затрагивает лишь самые поверхностные области сознания; наоборот, инстинкт самосохранения является одной из наших основных склонностей. Следовательно, он не может быть чувствительно затронут столь отдаленным и слабо отражающимся фактором. Таким образом, является вопрос, не представляют ли оба факта следствия одного и того же состояния. Этой общей' причиной

является ослабление традиционных религиозных верований, которое одновременно усиливает потребность к знанию и склонность к самоубийству.

Существует еще другая причина, делающая метод сопутствующих изменений главным орудием социологических исследований. Действительно, даже при наиболее благоприятных для них обстоятельствах другие методы могут быть употреблены с пользой лишь тогда, когда число сравниваемых фактов очень значительно. Хотя и нельзя найти двух обществ, сходных или различающихся лишь в одном

пункте, однако можно по крайней мере констатировать, что два факта очень часто сопровождают или исключают друг друга. Но для того, чтобы такое констатирование имело научную ценность, нужно, чтобы оно было сделано очень большое число раз, нужно быть почти уверенным, что все факты были рассмотрены. Однако, столь полный перечень не только невозможен, но и факты, собранные таким образом, не могут быть установлены с достаточной точностью, именно потому, что они слишком многочисленны.

При таких условиях не только рискуешь проглядеть факты, весьма

существенные и противоречащие уже признанным, но нельзя быть вполне уверенным и в надлежащем знании этих последних. Рассуждения социологов часто многое утрачивали от того, что они применяли предпочтительно методы согласия или различия, особенно первый, и занимались более собиранием документов, чем их критикой и выбором. Так, они беспрестанно ставят на одну доску сбивчивые и наскоро сделанные наблюдения путешественников и точные тексты истории. Относительно подобных доказательств можно сказать не только, что достаточно одного факта,

чтобы разрушить их, но и что факты, на которых они основаны, не всегда внушают доверие.

Методы сопутствующих изменений не принуждают нас ни к таким неполным перечислениям, ни к таким поверхностным наблюдениям. Для того чтобы посредством этого получить надлежащие результаты, достаточно несколько фактов. Как только доказано, что в известном числе случаев два явления изменяются одинаково, можно быть уверенным в существовании в данном случае известного закона. Так как нет необходимости, чтобы документы были многочисленны, то

они могут быть тщательно выбраны и изучены пользующимся ими социологом. Главным содержанием своих индукций он может и потому должен сделать те общества, верования, традиции, нравы и право которых воплотились в достоверных и письменных памятниках...

...Уже при поверхностном знакомстве с социальными явлениями бываешь поражен тою удивительной правильностью, с какою они воспроизводятся при одних и тех же обстоятельствах. Даже обычаи, самые мелочные и с виду самые пустые. повторяются с самым поразительным

единообразием. Такой свадебный обряд, по-видимому, чисто символический, как похищение невесты, встречается повсюду, где существует известный семейный тип, связанный, в свою очередь, с целой политической организацией. Самые причудливые обычаи, как, например, экзогамия, брак со свояченицей и пр., наблюдаются у самых различных народов и являются симптомами известного социального состояния, Право завещать появляется в определенном фазисе истории и, смотря по более или менее важным ограничениям, которым оно подвергается, можно угадать, с каким

моментом социальной эволюции
имеешь дело. Можно бы без труда
увеличить число подобных примеров.
Эта же распространенность
коллективных форм была бы
необъяснима, если бы причины цели
имели в социологии тот перевес,
который им приписывают.

Следовательно, когда собираются
объяснить социальное явление,
должны исследовать отдельно
производящую его причину и
выполняемую им функцию. Мы
отдаем предпочтение термину
функция перед словом цель именно
потому, что социальные явления
возникают обыкновенно не в виду

полезных результатов, ими производимых. Важно же определить, существует ли и в чем состоит соответствие между рассматриваемым фактом и общими потребностями социального организма, не занимаясь вопросом, намеренно оно или нет...

Обе эти проблемы должны рассматриваться отдельно и первая раньше второй. Действительно, такой порядок вполне отвечает порядку фактов. Естественно искать причину явлений прежде, чем пытаться определить его следствия. Такой метод тем более логичен, что решение первого вопроса часто

облегчит решение второго.

Действительно, связь причины со следствием носит характер взаимной солидарности, до сих пор недостаточно признаваемый.

Конечно, следствие не может существовать без своей причины, но эта последняя, в свою очередь, нуждается в своем следствии.

Следствие получает от причины свою энергию, но при случае возвращает ей ее и, следовательно, не может исчезнуть без ущерба для нее...

Таким образом, причина социальных явлений состоит не в предшествующем мысленном

представлении той функции, которую они призваны исполнять, а, напротив, эта функция состоит, по крайней мере, во многих случаях в том, чтобы поддержать прежде возникшую причину, от которой они произошли: следовательно, первую найдут легче, если вторая уже известна.

Но хотя определение функции и стоит на втором плане, оно все-таки необходимо для того, чтобы объяснение явления было полным. Действительно, если полезность факта и не есть причина его существования, то все-таки обыкновенно он должен быть

полезен для того, чтобы сохранить свое существование. Для того чтобы быть вредным, ему достаточно быть бесполезным, потому что в этом случае он ничем не окупает своей стоимости. Следовательно, если бы большинство социальных явлений обладало этим паразитарным характером, то бюджет организма пришел бы к дефициту и социальная жизнь была бы невозможна. Поэтому, для того чтобы дать о последней удовлетворительное понятие, необходимо показать, каким образом составляющие ее явления совокупными усилиями стремятся привести общество в состояние

внешней и внутренней гармонии. Конечно, ходячая формула, определяющая жизнь как соответствие между средой внутренней и внешней, лишь приближительна; тем не менее в общем она правильна и потому для объяснения какого-либо жизненного факта недостаточно указать вызвавшую его причину; нужно еще — по крайней мере в большинство случаев — найти, какая часть работы приходится на его долю в установлении общей гармонии.

III

Раз оба эти вопроса различены, нам нужно определить метод, которым они должны быть разрешены.

Метод, которым обыкновенно пользуются социологи для объяснения, одновременно и психологический по существу своему и телеологический.

Оба эти признака тесно между собою связаны. Действительно, если общество является лишь системой средств, создаваемых людьми для достижения известных целей, то эти цели могут быть лишь индивидуальными, так как до общества могли существовать только

индивиды. Следовательно, идеи и потребности, определившие образование обществ, исходят от индивида, а если все исходит от него, то все по необходимости должно найти в нем свое объяснение. С другой стороны, в обществе существуют лишь отдельные сознания, следовательно, в последних и находится источник всякой социальной эволюции. С этой точки зрения социологические законы могут быть лишь короллариями более общих психологических законов; последнее объяснение коллективной жизни будет состоять в узаконении, каким

образом она вытекает из
человеческой природы вообще, в
виде ее и из этого источника или
непосредственном, без
предварительных наблюдений, или
же с помощью последних...

Но отношение между основными
законами человеческой природы и
последними результатами прогресса
остается все-таки аналитическим.
Самые сложные формы цивилизации
являются лишь развитием
психической жизни. Поэтому даже
тогда, когда психические теории
являются недостаточными в качестве
посылок социологического
рассуждения, они все-таки остаются

пробным камнем, при помощи которого испытывается законность добытых индукцией положений. Всякий закон последовательности социальных явлений, — говорит Конт, — как бы авторитетно ни указывал его исторический метод, — должен быть принят окончательно лишь после того, как он, прямо или косвенно, но происходит при упадке каждого вида с тем, что бывает в первые моменты существования следующего вида. Руководясь таким приемом, считали возможным утверждать, например, что ослабление религиозных верований и всякого традиционизма может быть

лишь переходным моментом в жизни народов, потому что оно появляется лишь в последний период их существования и прекращается с началом новой эволюции. Но при таком методе можно принять за правильный и необходимый ход прогресса то, что есть следствие совсем другой причины.

Действительно, состояние молодого общества не есть продолжение тех состояний, до которых дошли в конце своей жизни замененные им общества, но происходит отчасти и от самой этой молодости, мешающей им утилизировать оные результаты опытов предшественников. Так,

ребенок получает от своих родителей способности и предрасположения, получающие применение в его жизни лишь позднее. Следовательно, возвращаясь к первому примеру, можно сказать, что возврат к традиционализму, наблюдаемый в начале истории каждого общества, обязан своим происхождением не тому, что противоположное явление бывает только переходным моментом, а вытекает из особых условий, в которых находится всякое начинающее общество. Сравнение может иметь доказательную силу лишь с исключением этого препятствующего фактора —

возраста; для устранения его достаточно рассматривать сравниваемые общества в одинаковом периоде их развития. Так, для того, чтобы узнать, в каком направлении развивается данное социальное явление, нужно сравнить состояние его в эпоху молодости данного вида с состоянием его в эпоху молодости следующего вида и, смотря по тому, представляется ли оно более, менее или столь же развитым при переходе от одной ступени к другой, можно будет сказать, что данное явление прогрессирует, идет назад или остается неподвижным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общем, отличительные признаки изложенного метода следующие.

Во-первых, он независим от всякой философии. Так как социология возникла из великих философских доктрин, то она сохранила привычку опираться на какую-нибудь систему, с которой она, таким образом, сказывается солидарной. Так, она была последовательно позитивной, эволюционной, спиритуалистической, тогда как она должна быть просто социологией. Мы колебались бы даже назвать ее натуралистической, если только

этим термином не будет просто обозначено, что она считает специальные факты объяснимыми естественными причинами, и в этом случае эпитет бесполезен, так как он только обозначает, что социолог — не мистик и занимается наукой. Но мы отвергаем это слово, если ему придают до-ктринальное значение, касающееся сущности социальных явлений, если, например, подразумевают, что последние могут быть сведены на другие космические силы. Социологии не следует принимать сторону какой-нибудь из великих метафизических гипотез. Ей не нужно утверждать ни свободы, ни

детерминизма. Она требует только признания, что социальные явления подчинены закону причинности. Даже это начало установлено ею не как непреложный постулат разума, а как начало эмпирическое — законный продукт правильной индукции. Так как закон причинности признан для других отделов природы и признание его господства постепенно расширялось, распространялось от мира явлений физико-химических на явления биологические, от последних на мир явлений психических, то можно допустить, что он одинаково верен и для мира социального, и надо

прибавить, что исследования, вызванные признанием этого начала, стремятся подтвердить его. Но вопрос, не исключает ли природа причинной связи всякую случайность, этим еще не решается.

К тому же сама философия очень заинтересована в этой эмансипации социологии. Потому что, пока социолог не освободился вполне от влияния философа, он рассматривает социальные явления с их наиболее общей стороны, с той, с которой они более всего походят на другие явления Вселенной. Если же, находясь в таком положении, социология не может

иллюстрировать философию интересными фактами, то не может обогатить ее новыми взглядами, потому что она не отмечает ничего нового в том предмете, который изучает. Но в действительности, если основные факты других областей и повторяются в сфере социальных явлений, то лишь в особых формах, делающих их природу более понятной, потому что они являются высшим ее выражением. Но только для того чтобы видеть их с этой стороны, нужно выйти за пределы общностей и обратиться к подробному изучению таких фактов. Таким образом, социология по мере

того, как она специализируется, доставляет все более оригинальный материал для философского размышления. Предшествующее изложение показало уже, в каком совершенно новом виде являются такие важные понятия, как понятие о виде, органе, функции, здоровье, болезни, причине и цели. К тому же, разве не социология призвана выставить во всем ее блеске идею, могущую быть основанием не только психологии, но и всей философии в ее целом, идею ассоциации?

Дюркгейм Э. МЕТОД
СОЦИОЛОГИИ //Западно-

европейская социология XIX-начала
XX веков. - М., 1996. - С. 256-309.